



Василий Алексеевич Маклаков
Воспоминания. Лидер московских
кадетов о русской политике. 1880-1917

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=618505

Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1880—1917: ЗАО Центрполиграф;

Москва; 2006

ISBN 5-9524-2427-9

Аннотация

Василий Алексеевич Маклаков – член ЦК партии кадетов, депутат Государственной думы 2-го, 3-го и 4-го созывов, авторитетный российский политик, один из виднейших русских адвокатов. В этой книге он рассказывает о тех демократических и правовых основах, которые определяли когда-то величие и мощь Российской империи, и тех роковых особенностях нашего менталитета, что послужили причиной ее трагедии. Анализируя историю парламентаризма в России, Маклаков приходит к выводам, актуальным и для сегодняшнего политического процесса.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
Глава 1	6
Глава 2	16
Глава 3	27
Глава 4	44
Конец ознакомительного фрагмента.	52

В.А. Маклаков

Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1880–1917

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящие «Воспоминания» требуют некоторого объяснения, если не оправдания. Под таким общим подзаголовком уже вышли три мои книги, доведшие рассказ о событиях в России до роспуска 2-й Государственной думы и переворота 3 июня 1907 года. Отражая тогдашнее настроение, я в этом перевороте видел только его вредные стороны, которых и сейчас не могу отрицать. Дата 3 июня сделалась для нас таким же нарицательным и порицательным именем, каким 2 декабря было для Франции. Но после того, что мы с тех пор пережили, такое суждение было бы односторонне. Если этот переворот насильственно прекратил острый период ожесточенной борьбы исторической власти с представителями передовой общестственности (Освободительное Движение, 1-я Дума, 2-я Дума), то он в то же время начал короткий период «конституционной монархии», то есть совместной работы власти с представителями общества в рамках октроированной конституции. Эта перемена позиций немедленно стала приносить свои полезные результаты. Не произошли в 1914 году европейской войны, Россия могла бы продолжать постепенно выздоравливать, без потрясения. И потому переворот 3 июня, при всей своей незаконности и связанными с этим последствиями, может быть, помог нам тогда избежать двух худших исходов: или такой полной победы самодержавия и его крайних сторонников, которая могла привести к отмене «конституционного строя» и к возвращению прежнего самодержавия, что заставило бы начинать борьбу с ним сначала, или – что могло быть еще хуже – к тому, что то полное крушение власти, которое произошло в 1917 году, пришлось бы на десять лет раньше в обстановке несколько не лучшей для мирного оздоровления.

Помню, как в 1917 году война многими считалась для такого оздоровления положительным фактором. Вместо этих двух крайних и противоположных исходов мы получили передышку, которую можно было на благо России использовать. Когда в 1942 году я собирался свои «Воспоминания» продолжать, я на эпохе 3-й и 4-й Государственных дум хотел проследить оба эти процесса, то есть и симптомы выздоровления России, и то, что его задерживало или от него отклоняло. Я не смог этого намерения выполнить, так как мне не удалось тогда в Париже найти всех нужных для этого материалов, и даже стенографических отчетов последних двух Государственных дум; а я не хотел писать только по памяти.

И если я теперь опять написал воспоминания, то характер их поневоле будет другой. Я не продолжаю прежний рассказ, а начинаю его с еще более раннего времени, переменяю и его содержание. Раньше я рассказывал о том, что мне приходилось со стороны наблюдать, благо мое поколение соединило в себе два противоположных свойства: наблюдали мы жизнь, как ее современники и очевидцы событий, а теперь вспоминаем, как о делах давно уже минувших. Громадность происшедших в России с тех пор перемен превратила «недавнее прошлое» в «историю». Это нам помогает беспристрастнее пересматривать прежние наши оценки. В прежних «Воспоминаниях» я, как общее правило, избегал говорить о себе; это было для рассказа не нужно, так как моя личная роль в тогдашних событиях была небольшая. Теперь же моя жизнь становится осью рассказа. Но говорить я буду уже не столько о том, что я делал в свои ранние годы, сколько о том, как тогдашняя жизнь воспитывала и формировала жившее тогда поколение, в том числе и меня. Конечно, одни и те же условия

жизни могли по-разному на нас влиять. Но это будут только различные результаты одного и того же процесса, то есть воспитания людей впечатлениями окружающей жизни. Этот процесс, поскольку он на мне отражался, и будет главным содержанием этой книги. Все мы при полной противоположности между собою были одинаково наследниками нашего прошлого, как и Октябрь 1917 года неожиданно оказался детищем самодержавия. Этой темы я, конечно, не только не могу исчерпать, но ее так и не ставлю. Это только та точка зрения, с которой я вспоминаю о прошлом и которая определяет выбор материала, о котором я буду говорить в этой книге.

Глава 1

То поколение, которое сейчас вымирает, а начинало жить активной жизнью во время Освободительного Движения, своими юными годами близко подходило к эпохе Великих Реформ. И если нам вспоминать свою жизнь и то, что она сделала с нами, надо начинать с этого времени, то есть с наших отцов и дедов. Мы многое от них унаследовали.

Дед моей матери был важный (штатский) генерал Павел Степанов; его я никогда не видал и только смутно помню висевший у нас на стене его фамильный портрет. Его жена была рожденная Татаринова; по семейным преданиям, она была в каком-то родстве с известной Татариновой эпохи Александра I. У П. Степанова были три дочери: Александра, Марья и Раиса. Александра, моя родная бабушка, вышла замуж за чиновника дипломатического ведомства в Бухаре Василия Васильевича Чередеева. Мать была их единственной дочерью. Эту свою родную бабушку, Александру Павловну, я помню гораздо меньше, чем ее сестер: она умерла раньше их. В моей памяти осталось только болезненное желтое лицо, которое у нее было незадолго до смерти, и ее похороны. Ее сестер, Раису и Марью, помню гораздо лучше. Раиса вышла замуж за офицера, Егора Александровича Михайлова, который служил в Хиве при Кауфмане; в мое время он был отставным полковником с совершенно лысой головой, членом Английского клуба, где проводил каждый вечер за картами; у него и Раисы было очень много детей, чуть ли не восемнадцать человек, и, хотя все были от одних и тех же родителей, часть их по отчеству звалась Дмитриевичами, а часть Егоровичами. Нам что-то по этому поводу объясняли, но очень невразумительное. Все их дети где-то служили. Мать их, Раиса, была столь же богата, как и ее сестры, но ее состояние не удержалось, и дети должны были сами зарабатывать на жизнь.

Третья сестра, Марья, осталась незамужней; была пережитком старой эпохи. Жила в собственном доме в Москве, около Каретного Ряда. При доме была очень большая незастроенная площадь земли: двор, сад и огород. В умелых руках имущество это могло бы представлять большую ценность. Но владелица из него дохода не только не получала, но и не старалась извлечь. Этого мало. Большой кусок своей земли она подарила соседней церкви, со словесным условием его не застраивать. Условие было нарушено; церковь сначала построила там большой доходный дом, с окнами прямо в окна дома дарительницы, потом закрыла проезд через подаренную землю, и дарительнице пришлось к себе проезжать обходным путем через другой переулок, что владение обесценивало. Для самой М.П. Степановой это было не важно. Она никуда не выезжала; жила в бельэтаже, верхний этаж сдавала знакомым, а нижний этаж, подвал, был складом фамильного добра, ненужных вещей, которые некуда было девать. При ее доме были сарай и конюшни; по привычке она держала кучера и лошадей, которые ей вовсе не были нужны. Я был ее крестником и до самой смерти ее должен был по субботам ходить к ней обедать. Она вставала с постели в 5 часов пополудни и только тогда делала выход в столовую. Была окружена какими-то старушками, которые по ночам составляли ей компанию (она ложилась под утро), играли с ней в карты или читали ей религиозные книги. Два раза в год, в день ее рождения и на именины, у нее были приемы. Собиралась родня, племянники и внучата, за которыми она посылала свой экипаж; бывало несколько старых знакомых (из них помню профессора Ф.И. Буслаева). Садись за длинный стол, пили шампанское за здоровье ее; за столом служили наемные официанты; вообще все было как у людей. Только в эти дни своеобразный склад жизни ее нарушался.

Дворянско-помещичья среда, из которой я вышел, конечно, не была однородной, хотя вся принадлежала к «благородному сословию», по выражению статьи IX тома свода законов, или к «правящему классу», позднейшей терминологии. У нее были и связанные с происхождением привилегии, по службе и по образованию. Главной привилегией было право

иметь «населенные земли», то есть право на крестьян и на даровой их труд в пользу помещика. Это право часто было источником и личного богатства этого класса, и опасного для него положения среди населения. Но прадед П. Степанов и мой дед В. Чередеев были не только помещиками, но служилыми людьми и получали за эту службу содержание. Имена были для них не источником богатства, а его признаком и последствием. Сами имения были не латифундиями по размерам и доходности, а небольшими кусками земли в разных уездах Московской губернии, которые раньше носили характерное название «подмосковных». Там были усадьбы, велось и хозяйство, что при даровом крестьянском труде было легко.

Потому отмена в 1861 году дарового труда для таких помещиков не была катастрофой, как для тех, кто своим именем жил и кому пришлось строить хозяйство на совсем других основаниях: сдавать латифундии в аренду крестьянам же или отдавать имения в более умелые для хозяйничанья руки. Для помещиков, которые жили не именем, а службой или интеллигентным трудом, вопрос так не ставился. Многие из них и после 1861 года имения свои сохранили, продолжали там жить, хотя бы часть года; предпочитали не уничтожать хозяйства, держать лошадей, скот, домашнюю птицу, не для барышей, а для домашнего употребления. Вести такое хозяйство было несложно. Надо было иметь небольшое число постоянных работников, которых можно было вербовать из бывших дворовых. Их было недостаточно на время страды, но для этого не нужно было выдумывать нового. Раньше эта нужда удовлетворялась крестьянской «барщиной», теперь ее нужно было оплачивать. В экстренных случаях она принимала освященную практикой форму «помочи». Все это происходило к взаимной выгоде и даже к удовольствию. Потому, когда из крепостных отношений исчезло то, что было в них ненавистно, то есть власть помещика над людьми, как над собственностью, и обязательный даровой труд на других, то там, где помещик не стремился крестьян эксплуатировать и давать чувствовать им свою прежнюю от него зависимость, крестьяне не обижались на то, что помещик для них оставался все-таки «барином», не претендовали на полное равенство с ним, не сердились за привычное «ты». Этого мало. Между помещиком и крестьянами часто сохранялись тогда и пережитки прежних их отношений, как людей, которые могут быть друг другу полезны и даже нужны. Крестьяне были необходимы помещику, но и сами они искали и находили у помещика в минуту нужды и кредит, и защиту против обидчиков, и медицинскую помощь, лекарства и пр. Отношения крестьян и подобных помещиков часто оставались мирными и дружелюбными; это исчезало с общим осложнением жизни, переходило в антагонизм и вражду. В детском возрасте мне этого видеть не приходилось. На это мы насмотрелись позднее.

Мать была не только из зажиточной среды, но и культурной. В этой среде это было не редкость. Единственная дочь богатых родителей, она получила только домашнее воспитание. До конца жизни сохранила предубеждение против школы, боялась в ней дурных знакомств и влияний; в этом она уступила отцу только для сыновей, но оставила завет не отдавать никуда дочерей. Дома ее учили всему, что полагалось знать воспитанной барышне этого круга; она свободно говорила на трех языках (помимо русского), была ученицей знаменитого пианиста Фильда. В ее книжном шкафу были все русские и много иностранных классиков, которых и нам постепенно давали читать. Но на этом уровне она и остановилась.

Иначе быть не могло. Она умерла тридцати трех лет, имея восемь человек детей, из которых семеро остались живы. С ранней молодости она вся ушла в заботу о них, о хозяйстве, о поддержании отношений и положения в обществе. Ей некогда было продолжать учиться. Сама жизнь должна была ее развивать; но среда, в которой она выросла, родня, которой она была окружена, и положение ее, как матери большого семейства, оберегали ее от тех общественных увлечений, которые были свойственны 60-м годам; они ее не затронули. Она осталась тем, чем была в самые юные годы. Поскольку я могу по детским воспоминаниям судить о матери, она воспиталась на одной главной основе – религиозной. Глу-

бокая и своеобразная религиозность проникала все ее мирозерцание, не оставляя места ни сомнениям, ни рассуждениям. Однажды, уже после смерти ее, моя крестная мать, М.П. Степанова, расспрашивала меня, аккуратно ли я хожу в церковь, соблюдаю ли посты и все предписания церкви. При этих расспросах она привела мне суждение какого-то их старшего родственника, чтобы «укрепить меня в вере». Он будто бы говорил: «Если Бога нет и все, чему религия учит, – ошибка, для верующих людей от этого худа не будет; но зато, если это правда, как за это им будет хорошо! Поэтому лучше уже верить». Такое утилитарное соображение было бы цинизмом, если бы оно не было так детски наивно. Ничего подобного не могло быть у матери. Вера в промысел Божий, который всем в наших земных делах управляет, была для нее не заповеданной и для верующих выгодной верой, а простой очевидностью. Однажды я спросил у нее: «Почему в наше время нет больше святых?» Она удивилась вопросу: «Почему ты так думаешь? Святых и сейчас очень много. Посмотри на нашу Наталью Семеновну». Это была сморщенная старушка, которая издавна жила в нашем доме на положении среднем между членом семьи и прислугой. Я не верил. «Почему она святая? Что она для этого сделала?» Мать пояснила, что ничего особенного для этого делать не нужно. Поступки, угодные Богу, для людей часто только по неразумию их незаметны.

Она приводила и другой более яркий пример – нашего духовника отца Александра Семеновича Ильинского. Он был настоятелем церкви Успения, что в Казачьей, в Замоскворечье; позднее был сделан протопресвитером Успенского собора. Мать издавна была дружна с его женой. Однажды во время Светлой Заутрени А.С. Ильинский увидел, что в той части церкви, где обыкновенно стояла его жена с их сыном, доктором, происходит волнение и кого-то уносят. Своей жены и сына он после этого в церкви не видел. В тревоге за них отслужил он заутреню. Началась обедня.

Сын вернулся в церковь, но без матери. А.С. Ильинский понимал, что если бы его жене только сделалось дурно, сын бы ее одну не оставил. Но обедню он все же, не торопясь, дослужил до конца. Вернувшись домой, нашел свою жену мертвой. И мать говорила: «Александр Семенович, забыв о себе, служил, подчиняясь воле Бога, который дал ему силу исполнить долг свой, священника; значит, он Богу угоден». Это было так странно; в наших глазах он казался очень обыкновенным человеком. Не раз приезжал к нам в деревню, любил ловить рыбу. Помню, как он радовался, когда однажды поймал на червя громадного окуня. И вдруг он святой человек! Но у матери в этом сомнения не было. Она во всем обыденном видела проявление руки Бога.

Другой раз я ее спрашивал: «Почему не бывает больше чудес?» Она опять недоумевала: «С чего это ты взял? Чудеса происходят на каждом шагу, только люди их не замечают и объясняют по-своему». Сама она верила им, как реальности. Нас, детей, часто возила к Спасителю, на Остоженке, где в домовый церкви была икона, считавшаяся чудотворной. По преданию, слепой мальчик на стене нарисовал углем образ Спасителя и никто не смог этого угля стереть. Бывая в этой церкви, я всегда напрасно искал следов того первоначального угля. Но мать была уверена, что здесь было настоящее чудо. Другой более близкий пример. Когда, уже приговоренный врачами, умирал от мозговой болезни наш младший брат, с ним делались судороги, и он тяжело метался. Мать сидела около него с крестом, в который были вделаны мощи, и во время припадков, чтобы их облегчить, осеняла его этим крестом. Она твердо верила, что этот жест ему помогает. А наутро, когда брат, окруженный цветами, уже лежал в своем гробике, она смотрела на него умиленно, но и с убеждением говорила сквозь слезы: «Сейчас он ангелочком летает около Бога. Ведь у него грехов еще не было».

Я допрашивал дальше: «Почему же мы, верующие люди, не можем, по словам Писания, двигать горами?» Она объясняла: «Потому что у нас вера слаба и мы хотим сделать чудо, только чтобы этим в себе укрепить эту веру». Это уже «маловерие» и «искушение» Бога; это грех. Так у нее на все был ответ из той же веры, которая была для нее «очевидностью».

Она старалась и нам именно ее передать; такая вера была понятнее нашей детской душе, чем хитроумные «определения» Бога из Филаретова катехизиса, который нас заставляли зубрить в 3-м классе гимназии. Чтобы эту веру в нас поддерживать, она не только водила нас в церковь и заставляла читать молитвы, она старалась переносить нас в насыщенную живой верой атмосферу. Так, одной из книг, которые мы с ней читали вместе, были «Катакомбы» Евгении Тур, рассказы из эпохи Диоклетиановых гонений на христиан. Жена нашего уездного предводителя А.Н. Бахметева занималась литературой и издавала книги под общим заглавием «Душеполезное чтение». Одну из таких книг, «Жития святых», мать с нами постоянно читала. В них открывался тот особенный мир, которого мы не умели разглядеть, мир, где страдали и умирали за веру. Мы не умели этого видеть, мать же о том, что и теперь происходило кругом, иначе судить не могла.

В конце 70-х годов печаталась «Анна Каренина». Мы, детьми, знали имя Толстого; мне на именины подарили «Детство. Отрочество», и мы им увлекались. И потому, когда стали говорить о новом романе Толстого, я просил дать мне его почитать. Мне объяснили, что он не для детей; а наша домашняя учительница Надежда Ивановна, старая дева с очень строгими нравами, не только с осуждением, но с ужасом говорила про какую-то взрослую барышню, что она прочла «Анну Каренину». Сестра же, которая была на два года старше меня и любила разыгрывать взрослую, когда хотела кого-нибудь осудить, говорила: «Он читает „Анну Каренину“». Это только больше подстрекнуло мое любопытство. Однажды в деревне, в комнате дедушки по отцу, Николая Васильевича, я увидел на столе эту книгу и немедленно, тайком, начал ее читать. Мне помешали, и я прочел только беседу Облонского с Левиным во время охоты. Но после я услышал продолжение разговора дедушки с матерью об этой же книге. Дедушка говорил, что не согласен с ее оценкой романа. Мать, по его словам, находила, что его надо было кончить на болезни Анны после родов, заставив ее тогда «умереть». Дедушка же утверждал, что только после этого роман получил свой интерес. Мать возражала. Если Анна согрешила, то судить и карать ее мог только Бог, а не люди, людям же нужно следовать слову Христа о тех, кто может бросать в других камнями. А каковы были те люди, которые Анну травили? Я запомнил этот случайно подслушанный мной разговор более всего потому, что, несмотря на старания, не мог его соединить с теми страницами, которые успел прочитать из «Анны Карениной».

Позднее я узнавал мать в этом споре. Она порицала грех, как нарушение Божьей заповеди, но «грешников» не осуждала. В этом была не только религиозная заповедь, но и свойство характера. Я не знал в жизни более доброго человека, чем мать: она никогда не сердилась, всех всегда защищала.

Таково то воспитание, которое она старалась нам передать. Она пустила в душе какие-то ростки, которые жизнь рассеяла уже потом.

В Вербную субботу 1881 года мать, по обыкновению, повезла нас, детей, смотреть вербное гулянье на Красной площади. Она казалась совершенно здоровой. По возвращении мы стали просить, чтобы по случаю Страстной отменить уроки музыки. Она шутливо сказала: «Хорошо, я, может быть, вас и помилую». Это были последние слова, что мы от нее услышали.

На другое утро она не вышла из спальни. Приходили доктора, осматривали, что-то прописывали, но ей лучше не становилось. В понедельник с утра она была уже без сознания. Ее перенесли из спальни в самую большую комнату нашей квартиры. Несли уже, как труп, вместе с кроватью. Вечером приехал Г.А. Захарьин, которого ждали, как чудо-творца, и он определенного ничего не сказал. Ночью детей разбудили, повели с нею прощаться. Она была без памяти, вся в крови от пиявок. Отец брал ее руку и нас ею крестил. Надежды на выздоровление не оставалось. Мы со старшей сестрой решили попробовать последнее средство. Поехали молиться той чудотворной иконе Спасителя на Остоженке, куда мать нас часто

возила. Я опять стал искать следов чудесного угля и их опять не нашел под массой образов и украшений. Мы вернулись домой. Матери не сделалось лучше. А потом скоро отец вышел к нам сообщить: «Дети, мамаша скончалась».

Я стал себя спрашивать: почему молитвы перед чудотворной иконой не помогли? Заключил, что у меня не было достаточно веры; если бы она была, я не стал бы еще раз искать следов настоящего угля. Но так как вера двигает горами, то при вере я смогу и мертвую воскресить. Я пробрался ночью в комнату, где стоял ее гроб; монашенка около него читала молитвы. Не помню, вернее, не знаю, что я пытался там сделать; знаю только, что меня унесли без чувств. И я тогда решил про себя: публично, на торжественном отпевании я ее воскрешу. Если я решусь это сделать в такой обстановке, то это докажет, что я имею достаточно веры. Наступил день отпевания. Это была Страстная неделя. Гроб стоял вблизи Плащаницы. Масса народа. На отпевание приехал архиерей Амвросий, знаменитый духовный оратор, впоследствии он был архиепископом в Харькове и, говорят, стал отъявленным черносотенцем. Он был знаком с отцом еще до своего монашества и бывал в нашей семье. Я выжидал подходящий момент, чтобы свое намерение – воскресить мать – привести в исполнение. Среди моих колебаний неожиданно начал говорить епископ Амвросий. Я и теперь помню содержание его слова. Он напомнил, что, по преданию, какой-то подвижник, который делал все, чтобы быть Богу угодным, захотел узнать, что ему нужно еще для этого делать? Ему чудесным путем было указано, чтобы он поехал в такой-то город по такому-то адресу; там живет женщина, которая более всех Богу угодна. Он исполнил, что ему было сказано. К своему удивлению, нашел там не подвижницу, не отшельницу, а самую простую богобоязненную женщину, мать семейства, которая не понимала и не могла объяснить, чем она заслужила перед Богом. И вот она, эта смиренная женщина, говорил епископ Амвросий, оказалась наиболее Богу угодна. Такова была канва его речи.

Она западала мне в душу; в конце он обратился к нам: «Подойдите ко мне, дети почившей». Что-то он специально нам говорил, к чему-то призывал всех бывших в церкви, но я помню одно, как из его глаз по щекам катились слезы. Мне стало стыдно или страшно производить опыт своей способности творить чудеса у этого гроба. Я этой попытке не сделал; но потом долго себя упрекал за свое доказанное и тотчас наказанное маловерие. Эти похороны были последним впечатлением, которое у меня связано с матерью. Мне было тогда одиннадцать с половиною лет.

* * *

Если мать была тепличным растением культурной помещичьей среды, то отец представлял другую ее разновидность, но вышел он из нее же. Мой брат, когда был на государственной службе, нашел бумаги, по которым можно было восстановить нашу родословную и даже быть переписанным в какую-то другую дворянскую книгу.

У нас не сохранилось отношений с отцовской родней. Из нее мы знали только родного деда Николая Васильевича, живописного старика с длинными белоснежными волосами, какими тогда изображали вернувшихся из ссылки декабристов. Человек очень способный, но легко увлекавшийся, он постоянно менял род занятий и потому не преуспел ни в одном. Начал врачом. Набрасывался в медицине на всякие новшества, даже на те, которые тогда принимали за шарлатанство, как, например, гипнотизм. Но медициной он занимался недолго. Помню его рассказы об его увлечении петушиными боями, для которых он выводил особую породу петухов; о попытках построить «perpetuum mobile»,¹ об изобретении им «повозки для тяжестей», которая выдержала будто бы публичные испытания и

¹ Вечный двигатель (лат.).

только по чьим-то интригам не была удостоена премии; кое-что я о нем узнавал не только по его собственным рассказам. После смерти отца в шкапулке, где хранились письма деда к нему, я нашел письмо, где дед отцу сообщал, что изобрел в Монте-Карло «беспроегрывшую систему игры», вошел в компанию с неким графом Грабовским, чтобы «взорвать» вместе банк, и убеждал отца собрать как можно больше денег и ехать к нему: «вернешься богатым». Уже своими глазами я видел другое, более невинное его увлечение. Дед жил тогда с нами в имении матери Ярцеве Дмитровского уезда Московской губернии. Его почему-то захватила идея завести в нем на широких началах молочное хозяйство с сыроварением, которое должно было давать большие доходы. У отца не было ни охоты, ни умения извлекать барыши из хозяйства; но потому ли, что не хотел лишиться своего отца удовольствия, или потому, что еще не предвидел, во что это его удовольствие обойдется, но он согласился попробовать. Я ребенком наблюдал этот опыт. Вероятно, так после 1861 года помещики проживали свои выкупные свидетельства. Был построен длинный скотный двор со специальной вентиляцией и с особенным помещением для каждой коровы; приобретен редкий породистый скот. Мы ходили смотреть, как мыли громадных голых свиней, которые отчаянно хрюкали, когда мыло им попадало в глаза. Были заведены машины, локомобиль, молотилка, веялка, которые постоянно ломались. Конечно, хозяйство никаких барышей не давало. За это дед обвинял какого-то Озмидова, который вместе с ним это дело затеял; позднее я слышал это имя, как известного сельскохозяйственного деятеля. К счастью, в 1878 году тетка матери, М.П. Степанова, уговорила нас переехать в ее имение Дергайково Звенигородского уезда. Оно было замечательно живописно. Мы там поселились и оставались уже до революции. С переездом туда прекратилось хозяйство в Ярцеве. Дед перешел тогда к другим занятиям, пристрастился к литературе, написал драму «Богдан Хмельницкий», которая была поставлена в Малом театре на Императорской сцене. Из деревни он приезжал на ее постановку, ходил на репетиции, и сам помню, как он восхищался игравшей в его пьесе молодой, тогда никому еще не известной артисткой – Ермоловой. Еще позднее, уже на старости лет, он выучился английскому языку и стал переводить Шекспира. Помню его споры о достоинствах перевода с Н.Х. Кетчером, которому было посвящено шутивное стихотворение П.В. Шумахера:

Вот еще светило мира,
Кетчер, друг шипучих вин,
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осин.

Когда деду стало скучно в деревне, он стал все чаще ездить к близким соседям, графам Олсуфьевым, которые безвыездно жили в своем подмосковном имении Оболянове. Олсуфьевы были исключительно культурной, талантливой и литературной семьей; у них часто бывали Толстые, не исключая и самого Льва Николаевича; к этой семье Олсуфьевых принадлежал молодой их сын, известный позднее как политический деятель, Д.А. Олсуфьев, член Государственного совета по выборам от Саратовской губернии. Под конец дед жила там подолгу, там и скончался.

Таков был дед, поскольку я его помню. Была у него вторая жена, с которой он не то развелся, не то разошелся. К нам она заходила не редко. Если в то время случайно бывал у нас дед, она из другой комнаты на него смотрела украдкой. Если, приезжая, он узнавал, что она у нас, он не входил. Кроме отца, у деда было трое детей: сын С.Н. и две дочери. Одна была замужем за железнодорожным чиновником; другая, незамужняя, служила актрисой на выходных ролях в Малом театре. Дядя, Сергей Николаевич, был человек очень способный, великолепный стрелок и сильный шахматист. Никакой школы он не окончил, не имел ни определенных занятий, ни службы и жил в другом имении матери, как будто управ-

ляя хозяйством. Из всей этой семьи только отец получил высшее образование и сам создал себе положение.

Он учился в 1-й Московской гимназии. Когда через тридцать лет я стал гимназистом, у меня был тот же надзиратель, глубокий старик Л.И. Ауновский, который в этой же должности служил при отце. Времена с тех пор изменились. Отец часто рассказывал про свои школьные годы. Тогда было грубое время: учеников могли сечь и без церемонии угощали подзатыльниками. Правда, зато зря не губили их жизни. Тогда родители могли за них заступиться, с ними считались. В классической же Толстовской гимназии моего времени было иначе. С учениками была внешняя вежливость: ни к одному мальчику не обращались на «ты». Но было беспощадное равнодушие к их судьбе со стороны государственной власти, которая без причин ученика могла навсегда погубить. После гимназии отец поступил на медицинский факультет. Хотел себя посвятить хирургии. Этому помешала случайность. На охоте на уток, в лодке, он за дуло потянул ружье на себя, зацепил за что-то курком, и заряд угодил ему в левую руку, разорвал сухожилие, и несколько пальцев левой руки перестали сгибаться. Для большой хирургии это было помехой. От этой специальности он должен был отказаться и перешел на офтальмологию, где для миниатюрных операций неисправность левой руки могла не мешать. Было и другое последствие того же неудачного выстрела: отец был очень музыкален и в молодости хорошо играл на скрипке; это стало невозможно без левой руки. Он скрипку заменил «фисгармонией», где беглость пальцев была не нужна. Но офтальмологии он остался верен до смерти и умер профессором по этой кафедре.

Не могу судить о положении, которое отец занимал в медицине и в обществе. В одном сам могу быть свидетелем. Свое положение он получил ни по протекции, ни по наследству готовым: сам его создал, был «self made man».

Для этого надо было много работать. Он и был образчиком труженика. Всю жизнь работал без отдыха. Имел хорошую практику, у матери было состояние. Мог жить не утомляясь, но времени на отдых у него никогда не хватало. Он любил деревенскую жизнь, но, хотя наша семья подолгу оставалась в деревне, он мог приезжать к нам только на два дня в неделю и уезжал утром, чуть свет. В 1895 году перед смертью от эндокардита, который тогда не умели лечить, врачи предписали, если организм пересилит болезнь, безусловный и продолжительный отдых. В антрактах между пароксизмами он мечтал о таком отдыхе в нашей деревне, признавая, что всегда стремился к нему, и вспоминал, что за всю жизнь ни разу его не получил. Болезнь, которая кончилась смертью, оказалась его единственным отдыхом.

Главным делом, которое отнимало у него время, была медицина. Но он занимался ею не только с практической целью – лечить; она была для него одной из возможностей изучать жизнь и законы, которые ею управляют. Влекло его «естествознание» во всех его отраслях; он был активным членом многочисленных ученых обществ, старался следить за всем, что другие в естествознании делали. А когда была возможность заниматься им самому, даже в сферах от медицины далеких, он это и делал. Как пример припоминаю его увлечение пчелами.

Отец раз побывал на Измайловской пасеке в Москве, заинтересовался жизнью пчел и завел их у себя в деревне. При постановке ульев один из них уронили, пчелы роем набросились на отца и искусали его. Помню его шею, как будто небритую щеку от торчащих в ней пчелиных жал, которые вынимали горстями. У отца так поднялась температура, что опасались за его жизнь. Он выздоровел, но зато получил на всю жизнь иммунитет против пчелиного яда. Он устроил в деревне настоящую пасеку и проводил на ней каждое утро. Поставил и в Москве на квартире стеклянный наблюдательный улей, с летком на двор нашей больницы. Открыв дверку ящика, в котором улей был заключен, можно было наблюдать все, что в нем делалось. Следить в деревне за пасекой без помощника, когда отец четыре дня в неделю

отсутствовал, было невозможно. Он хотел заинтересовать этим кого-нибудь из нас, детей, но мы пчел боялись.

Случай помог отцу. К нам летом был приглашен репетитором, чтобы меня готовить к гимназии, студент, только что получивший медаль за сочинение по органической химии, И.А. Каблуков. Он заинтересовался пчелами, стал отцу помогать и с тех пор каждое лето проводил у нас, на положении близкого и верного друга семьи.

В 1926 году, когда он после Революции приехал в Париж, не побоялся нас навестить. Был убежден, что большевики очень скоро будут вынуждены уступить место старым общественным деятелям. Это была эпоха нэпа. Так думали тогда многие из тех, кто оставался в Советской России.

Каблуков был честным и хорошим человеком, не талантливый, но усердным тружеником, преисполненным уважения к науке и горделивого сознания того, что он – ее деятель. Язык плохо его слушался. Он не договаривал фраз, не согласовывал подлежащего со сказуемым и пересыпал речь словечками – «этта» (вместо акимовского «таё»). Этот недостаток, в связи с напыщенностью, с которой он говорил о высоких предметах, делал его часто комичным.

Мы, дети, издевались над ним и изводили его. И не одни только дети. Однажды наши крестьяне пришли его поздравить с «приездом». Этот обычай они всегда применяли не только к членам нашей семьи, но и к ее близким друзьям. Каблуков вышел, принял поздравление и стал разговаривать с крестьянином Степаном, по фамилии Родичев. Этот Степан был остроумный балагур и горький пьяница. Л.Н. Толстой говорил в Ясной Поляне, что пьянство он ненавидит принципиально, но что мужики-пьяницы бывают иногда очаровательны. Степан был из таких. Каблуков спросил его: «А ты, Степан, говорят, все пьянствуешь?» – «Что ж из этого, Иван Алексеевич, вреда от этого нет. Мне семьдесят лет, а посмотри на меня, каков я есть». Каблуков важно ответил: «Ну а если бы ты не пил, то тебе теперь было бы не семьдесят, а девяносто лет». Было ясно, что он хотел этим сказать, но то, что он сказал, вызвало общий хохот и удовольствие. Анекдоты про Каблукова попали даже в литературу (воспоминания Белого). Позднее он стал профессором химии, при большевиках сделан был академиком, и я в «Известиях» видел фотографию, как Калинин вручал ему какой-то орден. После 1926 года я его больше не видел.

Так наша семья вышла из двух разных классов: помещичьего со стороны матери и интеллигенции со стороны отца. В начале между ними не было «антагонизма»: у них был общий корень. У отца едва ли могла быть та детская «вера», которой была полна моя мать, но я помню, что он в церковь ходил, говел, хотя и всегда отдельно от нас, от детей. Однажды, уже после смерти матери, я как-то рассказал, что товарищ мой по гимназии меня принялся «просвещать» по части религии и поучал, что мир не создан в семь дней, а начался с появления раскаленного шара. Отец с каким-то опасением слушал и поинтересовался, что я на это ответил. Когда я сказал, что спросил, откуда этот шар появился, он пришел в восторг: «Вот и правильно. Ну, и вышел дурак, и не сможет на это ответить». По горячности и торжеству, с которыми это он говорил, было ясно, что отвечал он сомнениям, которые в нем самом были, но которым он не хотел давать хода. Почему? Раз во время Светлой Заутрени он повел нас с братьями на Красную площадь, залитую народом. И когда ударил колокол Ивана Великого, на него отозвались все московские церкви, начался ночной перезвон, а толпа, обнажив головы, стала креститься, отец с каким-то торжеством обратился к нам:

– Что бы ни говорили умники, откуда же это чувство у всех? Значит, за этим есть что-то. Этого унаследованного им, вместе с другими, «общего» чувства терять он не хотел.

Это могло быть не только с религией. Раз, уже студентом, я говорил с ним об умершем Каткове, политический вред которого отец тогда уже хорошо понимал. Я знал, что Катков

был пациент отца, с ним на этой почве видался. Благодаря более близкому знакомству с ним как с человеком, он мог не разделять распространённого против него огульного предубеждения. Но он старался все-таки оправдывать его и как политика; напоминал, что Катков всегда стоял за интересы России. Позднее, уже после смерти отца, в письмах деда, о которых я говорил, я нашел неожиданный вопрос деда, обращенный к отцу: продолжает ли он «восхищаться» Катковым? Я яснее понял тогда, откуда вышло это старание его защищать. Герцен рассказывал о возмущении, которое в большинстве тогдашнего общества вызвало польское восстание 1863 года и претензии на Западный край. Патриотический подъем общества в ответ на нападение Польши, очевидно, переживал вместе с другими 25-летний отец. Этого чувства он терять не хотел и за это многое Каткову прощал.

Это подводит к вопросу о политических взглядах среды, в которой с детства я рос. Это была среда интеллигенции, а не помещицья. Землевладельцы-помещики, которых было много среди материнской родни, были более старшего поколения; я мало их видел, и перед детьми они политических взглядов своих не высказывали. Я их просто не знал, и какого бы то ни было влияния на меня они оказать не могли. Кругом, в котором я рос, были знакомые и друзья отца, вообще интеллигенты. Между ними самими, конечно, могли быть различия, и очень глубокие, но для детских глаз незаметные. Главное же в них было то, что они все в свои молодые годы жили в ту переломную для России эпоху, когда было невозможно оставаться нейтральным. Нельзя думать, что в таких случаях бывают только два лагеря. Кто не с нами, тот против нас. Единогласие возможно, когда довольствуются отрицанием: отменить, не допустить. Когда хотят строить новый порядок (и в этом заслуга и величие Великих Реформ), там разномыслия неизбежны: они вытекают из сути вещей. Одним кажется, что реформы идут слишком быстро, недостаточно считаются с прошлым. Другим – наоборот. С кем тогда был отец – я точно не знаю. Сам он этого нам не рассказывал, а семейная хроника «бабушек» этим не занималась. Я от них часто слышал другие рассказы, например, о том, как отец сделал предложение матери. Он в доме ее родителей часто бывал, сначала как доктор, позднее как друг, но о своих личных планах молчал. И когда в разговоре с бабушкой он по какому-то поводу сделал на это очень отдаленный намек, который можно было понять даже вовсе не так, бабушка на него сразу накинулась: «Наконец-то, мой батюшка, давно пора!» Об этом они часто вспоминали со смехом. Можно было над этим только смеяться: брак вышел очень счастливым. Была ли в этих колебаниях отца простая застенчивость, или его останавливало неравенство «положений» – мать была единственной дочерью богатых и важных родителей, а он, молодой врач, не имевший своего состояния, – или за этим скрывалось различие культурных и политических симпатий двух семей, я не знал и уже не узнаю.

Поскольку я помню отца и его друзей, их политическое понимание для меня не оставляло сомнения. Все они были за Освобождение 1861 года, за Великие Реформы, многие были сами общественными деятелями, часто гласными Думы. Отец был с теми, кто хотел и эти реформы довести до конца, быть может до «увенчания здания». Думаю так потому, что помню, как он сочувственно говорил о назначении Лорис-Меликова, хотя политического смысла такого сочувствия я, по малолетству, тогда не мог понимать.

Но это одна сторона; все они вышли все-таки из круга «довольных», а не «обиженных судьбой», не тех, про которых в 1858 году Н.А. Некрасов писал:

Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства, науки,
Предаваться мечтам и страстям.

К этому чужому миру они относились без признаков высокомерия, не считали его «быдлом», обреченным оставаться внизу; себя не считали «белой костью», у которой есть привилегии по рождению; но они в себе ценили культуру и образованность и в этом видели свое заслуженное преимущество; не хотели это преимущество хранить для себя одних, считали долгом государства передавать его всем остальным, но не признавали и своей вины перед народом, не считали, что необразованные люди призваны Россию за собой вести или что культурным слоям у народа чему-то надо учиться. Долг высших классов был его учить и ему помогать, а не уступать ему места. И если это тогда им старались внушать, то они такое учение не считали не только опасным, но даже серьезным. Позднейших идеологий тогда не предвидели.

Но в самых этих прежде обиженных классах слагалось другое настроение. О нем я позднее узнавал из литературы, и даже из наблюдений, но в детстве мне с ним не приходилось встречаться. Настроение порождало дела, которые ни от кого нельзя было скрыть. Началось революционное движение 70-х годов, завершившееся царевубийством 1 марта.

Это время я отчетливо помню. И помню, что среда, в которой я рос, относилась к революционным покушениям вполне отрицательно. Она в это время была «опорой порядка», считала, что покушения мешают проведению нужных и возможных реформ. Ни цели их, ни психологии людей, которые собой тогда за это жертвовали, она не понимала. Культ революции, вера в то, что всего можно достигнуть насильем, убеждение, что успех революции есть высший моральный закон, нельзя было совместить с теми идеями, которые одушевляли эпоху Великих Реформ.

Это вышло наружу в 1881 году. Либералы оказались правее, чем, может быть, думали сами. «Победа» революционеров 1 марта стала концом их успехов. Широкое общество от них отшатнулось. У настоящей «реакции» оказались развязаны руки, и она нашла исполнителей. К ней переходили даже из «либерального» лагеря. Власть стала бороться тогда не только с революционным движением, в чем был бы долг всякой государственной власти, но с теми идеями, которые лежали в основе 60-х годов.

В это трудное время задачей той либеральной общественности, которая не изменила себе, стало спасать то, что еще можно было спасти и от торжествующей реакции самодержавия, и от малозаметного, но зарождавшегося уже тогда революционного «тоталитаризма». «Либералы» сами собой оказались опять на левых позициях и в печати, и на тех постах общественной деятельности, которые реакцией еще не были уничтожены. Так шла эта «холодная» война, пока не началось Освободительное Движение, которое в 1905 году привело к «увенчанию здания».

Мой отец не дожил до этого времени. Он умер в 1895 году, когда началось царствование несчастного Николая II. Принять участие в борьбе с самодержавием, уже не только в качестве зрителя, пало на долю моего поколения в его еще молодые, но уже не детские годы. Но к этой борьбе оно уже было подготовлено старшими.

Глава 2

Желание матери как можно дольше детей учить и воспитывать дома, по-видимому, встречало со стороны отца возражения. У него были другие взгляды. Он опасался для нас чересчур дамского, тепличного воспитания; хотел, чтобы мы возможно раньше узнавали настоящую жизнь и ее темные стороны. Он любил нас поддразнивать, друг с другом стравливать; смеялся над внешними проявлениями ласки, называя их «телячьими нежностями». Помню, как мать ему не раз говорила при нас, что он о таком воспитании потом сам пожалеет.

Вероятно, потому, что мать все же не теряла надежды как можно долее продолжать обучение дома, меня там учили тому, что для поступления в гимназию не требовалось. Наша учительница, Надежда Ивановна, учила нас всем предметам: писать без ошибок, арифметике, географии, истории. Для истории у нас был какой-то альбом с историческими картинками, начиная с крещения Руси и кончая чтением Манифеста 1861 года. При этих картинках был объяснительный текст; благодаря им все запоминалось легко. Была у нас и специальная детская библиотека: в ней, между прочим, были два томика о Потемкине и Суворове. Не помню их автора, но вспомнил о них потому, что когда их у нас увидел однажды В.К. Истомина, будущий всесильный правитель канцелярии при великом князе Сергее Александровиче, он сказал, что всюду их разыскивал для своих детей, но нигде не смог достать. Одна из пациенток отца, графиня Толстая, вдова известного друга Гоголя, подарившая свой большой дом на Садовой под приют для престарелых священников, каждую Пасху и Рождество присылала в подарок нам, детям, книги. Помню среди них всего Купера и Вальтера Скотта, в детских изданиях. Позднее она предоставляла нам самим выбор книг по вкусу и их нам дарила. Так появился у нас весь Жюль Верн и много других книг.

Нас учили и музыке. Жила у нас постоянно гувернантка, и мы с ней научились свободно болтать по-французски. Позднее появилась и англичанка. Со смертью матери такое домашнее учение кончилось. Учили нас и немецкому, но немецких учителей мы не любили и плохо учились. Не могу не припомнить по этому поводу, как курьез, что однажды, но недолго, нашим немецким учителем побывал и гостивший у нас П.В. Шумахер. В нашем кругу он был исключительным человеком, и вообще в современном обществе недостаточно оцененным. Если бы я заговорил подробнее о нем, я никогда бы не кончил. После него осталась все же книжка «стихов» и большое количество анекдотов.

Когда я поступил в гимназию, он подарил мне редкое издание (XVI века) «Илиады» с латинским переводом и с такой надписью:

«С детства до старости лет на мишуру все глядели
Слабые очи мои, лучших не видел красот.
Милостив к юноше Зевс, даровав ему высшее зреньё
И указав ему путь в область нетленной красы.
Васе Маклакову на память от старого хрена».

Эта книга долго хранилась в нашей деревенской библиотеке; после Революции была национализирована и пожертвована в «народную библиотеку», неизвестно на какое употребление.

Вопреки желанию матери, я еще при жизни ее был отдан в Московскую классическую 5-ю гимназию. Директором ее был В.П. Басов, сам убежденный латинист, переводчик с немецкого латинской грамматики Мазинга. Был сыном профессора хирургии, который знал лично отца. Я почему-то поступил в гимназию в середине учебного года, поэтому должен был для поступления сдавать особый экзамен. Отец, который присутствовал на этом экза-

мене в кабинете директора, рассказывал матери о пристрастном ко мне отношении учителей на экзамене, объясняя его недовольством за сделанное для меня исключение. Лично я этого не ощутил.

Я был тогда рад, что был отдан в гимназию и не рос до университета в условиях домашнего воспитания. Конечно, оно при хороших учителях может дать гораздо больше, чем общая школа. В то время это и не было трудно. Но у школы есть одно преимущество: школьные сверстники, постоянное общение с ними. Домашнее воспитание замыкает ребенка в определенном кругу; соответственно ему подбирают и учителей. Для ребенка надолго закрыты другие впечатления жизни. Домашний круг его может быть очень высок, состоять из настоящей элиты. Но детям, когда они вырастут, придется жить вне этого круга, с другими людьми. В высшей школе и жизни они все равно с ними встретятся. Воспитание дома или – что почти то же самое – привилегированная школа эту встречу только отсрочат и сделают общение с другими более трудным. Близость со сверстниками естественная поправка к такому порядку вещей, и она тем нужнее, чем более узок и замкнут тот круг, в котором ребенок растет. Это вполне относилось к нашей семье в те старые годы. Я помню такой эпизод.

На семейном празднике у нашей тетки М.П. Степановой один из сыновей ее сестры, Раисы Михайловой, в ожидании выхода хозяйки в столовую, стал занимать меня, восьмилетнего мальчика, разговором и сообщил о горе, постигшем Россию, а именно о смерти поэта Н.А. Некрасова. Я знал это имя, читал «Мазая и зайцев»; но Михайлов мне объяснял, что это лучший русский поэт; прочитал «Ивана», как его били в зубы, как он пытался повеситься и потом куда-то пропал. Михайлов продекламировал с чувством:

Как живешь ты на свободе,
Где ты, эй, Иван?

и убежденно закончил: Некрасов наш лучший поэт. Эти неожиданные для меня слова я передал потом старшим и сверстникам, но в них не встретил сочувствия. Мать объяснила мне, что все это вздор: разве ты видал, что кого-нибудь били в зубы? Если Иван пытался повеситься, то только потому, что был пьяница. И Иван никуда не пропал; Иваны служат извозчиками, дворниками, прислугой. И вообще нечего рассуждать о том, чего не понимаешь. Словом, вариант из того же Некрасова: «Вырастешь, Саша, узнаешь» и т. д.

Я был тогда удовлетворен таким объяснением: оно согласовалось с моим строем понятий, хотя и Михайлов был того же, нашего круга. Для моего тогдашнего возраста такое отношение матери может быть объяснимо, но в нем все же остается опасность; создание для детей искусственной односторонности, «железного занавеса», которое может часто объясняться не возрастом, а вытекать из предвзятого взгляда на то, что нужно «скрывать» и «замалчивать». Школа поневоле пробивала первую брешь в этом занавесе.

Однажды в гимназии наш классный наставник зачем-то стал всех спрашивать, какого мы звания. Большинство не понимало этого термина и отвечало, что их отцы – помещики, чиновники, доктора, учителя и т. д. Нам объяснили, что это не звание. При более точном разборе мы все оказались дворянами. Только один заявил, что отец его повар. И ему сказали, что это не звание; он оказался, по званию, цеховым мещанином. И любопытно, что известие, что отец нашего товарища повар, нам всем очень понравилось: этот товарищ вырос в наших глазах, как редкая птица. Невольно сопоставляю такую реакцию сверстников с знаменитым циркуляром Делянова о том, что детям «кухарок» не место в гимназии. Этим допотопным взглядам, которые старались тогда воскрешать, противостояло естественное общее настроение сверстников, которое не зависело от циркуляров и «начальственных» требований. В этом уже было преимущество школы. Конечно, не нужно преувеличивать разницы взглядов,

которую можно связать с различием происхождения. Такой разницы в то время я не замечал. Политикой мы тогда вовсе не интересовались. Думаю, что это было более всего оттого, что в нашем возрасте мы отражали только настроение старших; старшие же переживали период упадка, крушения прежних надежд, когда новых еще не появилось. Та разница оттенков, которые были в нашем кругу, для нас не была заметна, а до ее корней мы и не добирались. В одном классе со мной были сыновья гласного городской думы, из того либерального «меньшинства» интеллигентов, которые вели в Думе борьбу с городским головой Алексеевым, отстаивая начала «самоуправления» против его «самовластия». Это была замаскированная борьба «либерализма» с «реакцией». Об эпизодах этой борьбы, которую вели наши отцы, мы, дети, между собой говорили, и даже следили за ней с большим интересом, не отдавая себе отчета в том, ради чего она ведется и в чем ее смысл. Помню, как однажды о каком-то эпизоде ее, во время большой перемены, я говорил с А.И. Мамонтовым, сыном И.Н. Мамонтова, соперника Алексеева на пост городского головы. Надзиратель, услышав наш разговор, ничего запрещенного в нем не нашел, но все же сказал добродушно: «Чем говорить о пустяках, вы бы лучше повторяли греческие глаголы». Вообще политики в гимназии еще не было и быть не могло: за этим следили. Я помню только одного одноклассника, которого позже я встречал в политических кругах и организациях, Положенцева. Он жил у нашего инспектора Пехачека, был очень замкнут и всегда держался от нас особняком; мы объясняли это тем, что он жил у инспектора; позднее я понял, что для этого у него были другие, более веские основания.

Общение с товарищами меня до известной степени мирило с гимназией, и я был рад, что ее проходил. Этому я рад и теперь. Но сама классическая гимназия, ее худшего времени, эпохи реакции 80-х годов, оставила во мне такую недобрую память, что я боюсь быть к ней даже несправедливым. И эта недобрая память только росла, потому вероятно, что в том уродовании «духа», которое сейчас происходит в Советской России, как и во многих других новшествах «народной демократии», ясно выступают черты того худшего, что было в старой России. Они сейчас опять воскресают, только с невиданным прежде цинизмом.

Я не хочу делать упрека нашим учителям и даже начальству. Среди них были разные типы, были и хорошие люди. Я говорю о «системе», которую в России ввели и которой их всех заставляли служить.

Эта система имела главной задачей изучение древних, то есть мертвых, языков. Знание языков всегда очень полезно, а в молодые годы и дается очень легко. Для этого вовсе не нужно много грамматики. Можно говорить и понимать на чужом языке, грамматики совершенно не зная. Такого знания древних языков классическая гимназия, несмотря на то что в жертву этому приносила другие предметы, нам не давала. Ни по-латыни, ни по-гречески разговаривать мы не могли. А ведь наши отцы и деды это, по крайней мере по-латыни, умели. В европейских университетах лекции иногда читались по-латыни. Профессор Браун, офтальмолог, где-то в Германии слушал по-латыни лекции, говорил и понимал. Я запомнил рассказ его о том, как их учили латинскому. Учитель дал для перевода фразу: *terra est rotunda*.² Пособием был только словарь. *Terra*³ маленький Браун легко отыскал и записал. Но «*est*» при всем желании не находилось. Отыскал в словаре и третье слово, но с иным окончанием – *rotundus*.⁴ Ученикам было велено самим догадаться, почему это так. И только потом учитель им помог в том, чего они сами сообразить не могли. А когда к изменениям слов они уже привыкли на практике, им сообщали и грамматические правила этого. Такой прием оказался для усвоения языка гораздо действеннее. Так, вероятно, было не только с Брауном, но и со всеми. В 1904

² Земля кругла (лат.).

³ Земля (лат.).

⁴ Круглый (лат.).

году я был в Риме вместе с Плевако. Он собирался идти разговаривать с папой Пием X. Это была комическая встреча, о которой здесь не место рассказывать. Накануне беседы он мне передавал, что именно хочет папе сказать, и это говорил по-латыни. А я, премированный латинист, этого сделать не мог бы. Классическая гимназия этому нас не научила.

Причина в том, что эти языки мертвы, что на них больше не говорят, что нельзя импровизировать новых грамматических правил, которые в живых языках всегда идут в сторону упрощения. Самых грамматик древних языков не сохранилось. Нужно было самим их выводить из уцелевшей древней литературы. Потому знание древних языков и сводилось прежде всего к усвоению грамматических правил и исключений. Отыскание и формулировка этих правил для языков, на которых уже не говорят, от которых остались лишь письмена, было одним из замечательных достижений ума человека. Конечно, эта задача была еще труднее для разгадки иероглифов; через нее проникали в тайну образования языка. Это интереснейшая отрасль знания. Можно было желать, чтобы для тех, кто ею интересуется, существовали специальные школы. Но классические гимназии ставили задачу не так. Их аттестат был сделан неизменным условием допущения в высшую школу – университет, где преподают и другие науки. Когда высшее образование перестало быть монополией привилегированных классов и должно было быть доступно для всех, средняя школа должна была всех подготавливать к его восприятию и брать мерилom подготовленности к этому не древние языки, а обладание нужными в жизни знаниями и уровень общего развития. Для этого было нужно не знание грамматик языков, на которых больше не говорят: почему тогда не требовать и знания иероглифов? Такое специальное знание общего развития не обеспечивало; так можно только подготавливать специалистов. Сторонники классического образования имели за себя другие доводы. Владение древними языками открывало доступ к всеобъемлющей классической цивилизации; в ней можно было найти зародыши всякого знания – религии, философии, права, государственных форм, исторических смен и т. д. В классической литературе отражалось все, что думал об этом в эпоху расцвета классический мир. Чехов говорит устами Линтварева в рассказе «В пути», что нет ничего увлекательнее начала всякой науки. Это правда, именно начала, когда впервые открываются новые горизонты, за которыми не видно конца. Было бы завидной и благодарной задачей классической школы – учеников с этими «началами» всякой науки знакомить. Для этого нужно только понимать язык, а вовсе не знать его грамматических тонкостей.

Но как раз этого знания классической литературы гимназия нам не давала, а главное – и давать не хотела. Читали с нами классических авторов те же учителя «грамматик», а не знатоки тех предметов, о которых эти авторы говорили. Из этих авторов они только извлекали материал для грамматик, примеры *consecutio temporum*⁵ или условных периодов, а не сокровищ классической мысли, о которых речь шла в этих книгах. Для этого было бы бесконечно полезнее классическую литературу читать в переводах: разделение труда одно из необходимых условий прогресса. Одни могли выводить правила грамматики из сохранившихся текстов, а другие изучать содержание книги, не теряя драгоценного времени на отыскание правил грамматики. В тех пределах, в которых грамматика нужна для понимания текста, она дается так же легко, как и в живых языках или как давалась нашим отцам.

Но если изучение классических языков и не давало в гимназии такого развития, то оно направляло обучение по ложной дороге. Во-первых, на древние языки уходило так много времени, что на другие предметы его уже не было. А во-вторых, многих знаний гимназия и не хотела давать. Конечно, некоторые предметы были так необходимы, что учиться им не мешали. Таковы математика, физика. Дурного влияния от них не боялись и потому их не уродовали. Зато предметы, относящиеся к гуманитарным знаниям, как литература, история,

⁵ Последовательность времен (лат.).

старались для учеников «обезвредить». Как классическую литературу заменяли тонкостями грамматики, так, например, историю заменяли собственными именами и «хронологией». В смысл и связь событий старались не углубляться. Если от учителя в меру его любви к своему предмету и ловкости и зависело провозить иногда запрещенный груз, то это была все-таки контрабанда, которая провозилась в маленьких дозах. Образцом разрешенной истории был Иловайский. Это сделалось нарицательным именем. Когда на его учебники нападали в печати, он самодовольно заявил, что на такие упреки отвечает двумя словами: «Напишите лучше». Он знал, что для цели, которую ставило министерство, то есть убить и интерес к истории, более подходящего учебника, чем его, нельзя было выдумать. Дело было не в нем, а в системе, которой он, Иловайский, соглашался служить.

Разнообразные последствия этой системы не замедлили обнаружиться. Между прочим, одно из них любопытно. На филологический факультет шло наименьшее число учеников, и притом далеко не лучших; и это несмотря на то, что в гимназии именно к этому факультету особенно усердно готовили. Но «грамматические тонкости» и «понимание истории» по Иловайскому убивали интерес и к истории, и к литературе. Из гуманитарных факультетов наиболее привлекал юридический, совсем не потому, чтобы он был самым легким и помогал практической карьере; в раннюю молодость об этом не думают. Но те знания, которые все-таки там сообщали, законоведение, изучение форм общественной жизни, оставались вовсе вне преподавания гимназии и потому не успели от себя оттолкнуться.

Зачем это делалось? Противники классицизма говорили, что самой целью гимназического воспитания было не развивать, а душить у учеников интересы, что уже тогда шла борьба власти со «свободой духа», в которой видели недопустимое «вольномыслие», и что для этого было введено забивание молодых мозгов тем, что им неинтересно и совершенно не нужно. Такое суждение казалось полемическим преувеличением. Но когда мы увидели, как со «свободой» борются в Советской России, как «политическая партия» ученым в сфере науки дает директивы, как она преследует «уклоны» от них и как одновременно с этим забивают всем головы историей «коммунистической партии», такому объяснению дела можно поверить. Конечно, тогда, в старое время, «дрессировка» умов не была так жестока, как теперь, и не велась с таким напряжением всего государства, но система была та же самая. Приведу один только пример, который почему-то ярко остался в моей памяти. У меня был одноклассник, Сергей Басистов, сын покойного педагога, известного автора хрестоматий для чтения. Он был исключительно одаренным юношей, увлекался литературой, много читал, о чем мы даже не слышали, а главное – сам легко и свободно писал. Его гимназические сочинения были всегда образцовы; учителя часто их читали нам в назидание. Я некоторые из них до сих пор не забыл. Но он не любил древних языков и не имел способности к математике, что часто бывает с литературными дарованиями. По этим предметам он за весь год получал плохие отметки. Но перед экзаменами он на них налег и благодаря хорошим способностям благополучно их сдал. Но когда объявляли результаты экзаменов, директор ему объявил, что ввиду плохих годовых отметок он оставляется на второй год в том же классе. Я помню его искаженное этим ударом лицо и отчаянный голос: «За что? Я ведь старался». Директор ответил, что отличная сдача экзаменов только показала, что он мог хорошо учиться, но сам не хотел. В гимназию идут, чтобы усваивать знания, которые в ней преподают, а не заниматься посторонними предметами, а потом «блистать на экзаменах». На второй год остаться он не захотел, ушел совсем из гимназии и, как потом говорили, сбился с пути и погиб. Так гимназия поощряла таланты и оригинальные дарования.

Нечто подобное произошло и с его старшим братом Алексеем Басистовым. Он серьезно увлекался философией, вероятно элементарной; судить об этом мы не могли. Свои соображения он излагал всегда письменно и читал только избранным. И на все это гимназия смотрела враждебно, как на непослушание. В одно лето он исчез и потом не вернулся. Я,

правда, не знаю точно роли гимназии в этом его исчезновении. Но к требованиям гимназии от учеников он не подходил, и, так или иначе, она его от себя оттолкнула.

Против такого отношения гимназии, общение с товарищами-сверстниками и было противоядием в двух отношениях. Оно, во-первых, пробуждало интересы к тому, чего не давала гимназия. Они приходили к нам обходным путем.

Так, например, в одном классе со мной был сын зоолога Линдемана, профессора Петровской земледельческой академии. Это он объяснял мне происхождение мира из раскаленного шара. Этого рассказа было мало, чтобы разрушить во мне ту веру, которую мне с детства внушали. Но потом он стал говорить о вещах более простых и доступных, которые он узнавал от своего отца. Тогда профессор Линдеман возился с вредным «жучком», которого крестьяне прозвали «кузькой». Шумахер посвятил ему эту шуточную эпиграмму:

Поверьте, крестьянин наш русский
Без вас может все понимать.
Знаком он не только что с «кузькой»,
Он знает и «кузькину» мать.

Линдеман-сын, как и отец, увлекался зоологией, образованием видов, эволюцией всего живого, гипотезой «естественного отбора» и «происхождения человека». На помощь его доказательствам шла и только что развивавшаяся палеонтология. Это мне казалось столь увлекательным, что я стал доставать и прочитывать популярные книжки на эту тему. Эти вопросы и сведения я получил хотя и из гимназии, но не от ее учителей, а скорее вопреки им.

Другой одноклассник, по фамилии Иванов, а по прозвищу Крыса, сделался источником наших сведений по химии; он нас научил добывать кислород и показывал его влияние на горение. Химии в гимназической программе не значилось. Но эти рассказы в память запали; я завел дома электрическую машину, бунзеновскую горелку и т. д. И создателем этого интереса был опять-таки товарищ, а не учитель и не программа. Гимназическое начальство относилось к этому отрицательно, так как это мешало занятиям.

Но общение со сверстниками не только расширяло наши интересы; оно помогало их защищать против той системы, которую проводило начальство. Оно приучало с детства к реальным условиям жизни, к существованию в ней двух воюющих лагерей. Конечно, такое отношение школы к учителям не было ни нормально, ни нужно; они могли и должны были быть совершенно другие. Но в создании и поддержке этой «холодной войны» виновато было начальство. Оно не могло, а может быть, не умело и не хотело сделать свой предмет для детей интересным. Они предпочитали внедрять его приказами и наказаниями, как это мы видели на несчастном Басистове. И когда это было не единичное исключение, а система, которая практиковалась у всех на глазах, то и школьники сопротивлялись ей соединенными силами. У них образовалась «военная этика», которая приучала «своих» защищать, не выдавать, врагам не помогать, идти всегда общим фронтом. Эти фронты были безвредны, силы были слишком неравны. Но если самим школьникам моральную поддержку оказывали, то противоположный лагерь они возмущали. И хотя в этом пассивном сопротивлении и никакой «политики» не было, начальство и в ней ухитрилось ее увидеть и обрушиваться на «виновных» всей тяжестью безжалостной государственной власти. Это тоже было предзнаменованием того, что мы увидели в России теперь.

В Москве был талантливый журналист и педагог В.Е. Ермилов. Он университета не кончил, за беспорядки 1887 года был исключен и жил частными уроками и газетной работой. Его особенностью был незаурядный талант, который его сделал очень популярным в Москве, а именно талант рассказчика а 1а Горбунов. Он не был так глубок, как Горбунов, но зато сосредоточился на одной главной теме. Ею был цикл рассказов из быта гимназий, преиму-

щественно первой, где он сам учился и где директором был знаменитый своей строгостью и нелепостью И.Д. Лебедев. Среди его рассказов я помню такой. Директор встречает ученика с незастегнутой или оторванной пуговицей. Начинается разнос. Воображение и возмущение директора идет все crescendo. «Сегодня у тебя оторвана пуговица, завтра ты придешь без штанов. Послезавтра нагрубишь надзирателю». И эта филиппика разрешается озлобленным криком: «Цареубийца, к столбу!» И несчастный цареубийца, в слезах и с оторванной пуговицей, стоит у столба. Конечно, это шарж, но он не только характерен, но и очень правдив. Такова именно была психология гимназического начальства в эту эпоху реакции, разыскания и искоренения политической неблагонадежности. Сейчас то же усердие носит благовидное название «бдительности».

Эту бдительность и ее последствия я испытал на себе.

В гимназии моими успехами в науках могли быть довольны: я не был ленив, имел хорошую память, сами древние языки меня не отталкивали. Читать по-гречески я научился сам, без учителя, из одного любопытства. В моем аттестате зрелости было сказано даже, что я «с особенной любовью занимался изучением труднейших отделов грамматик древних языков». Это оптический обман. В помощь моим одноклассникам, я по их просьбе часто занимал учителей разговорами о грамматических тонкостях, которые черпал из других учебников. На это уходило время, и товарищи были избавлены от расспросов и дурных отметок. Любви у меня к этому не было, но, конечно, чтобы это исполнять, было необходимо больше, чем обыкновенное, знакомство с грамматикой. Моя выпускная работа по латинскому языку была признана в округе лучшей. Начиная с 4-го класса у меня не было отметок ниже «пяти». Словом, я учился отлично и, несмотря на это, едва попал в университет. Трудно поверить этому, если не рассказать все, что было, как это, может быть, ни скучно читать и ни совестно мне вспоминать, настолько все это мелко.

Вначале директор меня очень ценил. С 3-го класса он сам нас учил по-латыни, переводил с нами Цезаря. На переходном экзамене в 4-й класс, давая мне перевод, он сказал мне при ассистенте, нашем учителе греческого языка, чехе П.И. Пехачеке:

– Мне вашего перевода не нужно, я знаю, как вы переводите; хочу только показать это Петру Ивановичу.

Когда я кончил перевод и на все вопросы ответил, он пожелал мне летом хорошо отдохнуть и поправиться.

– Смотрите, какой вы худой и бледный. Сравните себя хотя бы с Насакиным.

Великовозрастный второкурсник Насакин стоял рядом со мной, дожидаясь очереди. А затем, обращаясь опять к Пехачеку, заключил про меня:

– Это отличный ученик.

В этой любезности была характерная неправда, почему я ее и запомнил. Я вовсе не был ни бледен, ни худ; с детства любил делать гимнастику, бороться и испытывать силу; у меня на всю жизнь остался шрам на правой щеке от таких упражнений. В гимназии каждое утро принимал лично участие в драке за табуретки, которую мы между собою вели до прихода на молитву директора; был в той группе учеников, которая хвасталась физической силой, что называлось нами в честь классицизма «геркулесничать». Но по нравам гимназии хорошему ученику полагалось быть болезненным и изможденным. Это были такие же атрибуты «первых учеников», как скромное поведение. Чтобы меня похвалить, директор эти качества мне приписал. И именно несоответствие моих успехов в предметах учения с каноническим образом первых учеников и легло в основу моих гимназических невзгод и даже преследований.

Однажды, по какой-то причине, нам давали латинский урок не в нашем классе, где у каждого было свое место. Я поэтому случайно очутился в том углу, который, по семинарским традициям, называли «Камчаткой». Там развлекались не так, как было принято на первых скамьях, где я обыкновенно сидел. Мой новый сосед для забавы начал мычать с закры-

тым ртом. Нам нравилось, что учитель мечет в нашу сторону свирепые взоры, но никого не может поймать. Это мне показалось забавным, и я в этом участие принял. По неопытности к таким упражнениям, вместо мычания и неясного гула, я взвизгнул так громко, что учитель это разобрал и строго спросил: «Кто это сделал?» Мне кругом говорили: «Молчи». Учитель подошел к нашей скамье и снова спросил: «Кто это сделал?» Опять все молчали. Нас оставили после уроков и принялись снова опрашивать, грозя наказать весь класс, если виновный себя не назовет. Это превысило мою осведомленность в гимназической этике, и я сказал: «Это я». Учитель поглядел с удивлением, как будто не веря; потом класс был отпущен, а меня позвали к директору. Я повторил мое признание, но не умел объяснить, почему я это сделал. Я сам этого не понимал. Мне это казалось тогда совершенно невинной шалостью. Ввиду того что это случилось со мной в первый раз и так неожиданно, на это посмотрели легко. Директор сделал мне выговор, признав, что, если бы это ему про меня сказал не наш классный наставник, он бы не поверил, что я был на это способен. Все на этот раз ограничилось выговором. Но через некоторое время я опять провинился. Когда наш класс выходил после уроков, я с входной лестницы спрыгнул, перескочив через несколько ступенек. На беду, директор проходил мимо и это увидел. Он велел мне вернуться назад. Я до такой степени не чувствовал за собой ни тени вины, что спросил: «За что?» – «А вот за то, чтобы в другой раз не сигали». Тогда я самого этого слова не знал, а вины в этом не понимаю и сейчас. Очевидно, это тоже не подходило к типу первых учеников. На этот раз я за свой скачок понес наказание, которое было внесено в кондуитный журнал. Но и это не было серьезным проступком, пока не разыгралась история, которая мою судьбу в гимназии определила.

У нас время от времени происходила церемония, носящая название «докторского осмотра». Нас оставляли после уроков, являлся доктор, щупал пульс и выслушивал, определял слух расстоянием, на которое мы слышали тиканье его карманных часов, а зрение расстоянием, на котором могли читать книгу. Мы бы безропотно на эту церемонию шли, если бы она заменяла урок; но на нее отнимали наше свободное время. К тому же процедура казалась нелепой; все помнили, как однажды слух был определен по часам, которые давно не ходили. Осмотр происходил в чужом помещении; я стал рассматривать записи и рисунки, вырезанные на партах, и от нечего делать вырезал пряжкой от ранца слова: «Нет ничего глупее докторского осмотра». На другой день после уроков нас привели в тот же класс, велели сесть так, как мы сидели вчера, и стали опрашивать, кто сделал эту надпись. Уличить виновника было трудно; ни по почерку (пряжкой ранца), ни по местам, на которых ученики все время менялись. Я опять тотчас признался; вину в порче стола я не мог отрицать. Но вина оказалась не в том. Директор объявил, что мою судьбу решит уже не он, а Педагогический совет; я что-то стал говорить в свое оправдание, но он прочел мне нотацию совсем иным тоном, чем вообще со мной говорил, и между прочим сказал, что я воображаю, что мне из-за моих успехов дозволено все и что я в гимназии поднял «знамя восстания». Я не понимал, какое восстание? Ермиловский «цареубийца» потом мне это объяснил. Мое преступление стало «событием». Французский учитель Шато, благоволивший ко мне за то, что я свободно болтал по-французски, велел мне прочитать вслух рассказ из «Марго», где говорилось, как кто-то, чтобы сорвать плоды с высокого дерева, стал на седло, а потом вслух сказал себе самому: а что если кто-нибудь моей лошади скажет: *allez!* Услышав знакомое слово, лошадь рванулась, и он полетел. Мораль рассказа у Марго была такова: «*Il ne faut pas dire tout ce qu'on pense*»,⁶ а учитель Шато уже от себя прибавил: «*Surtout ne pas èrire tout ce qu'on pense*».⁷ Это показывало, что на это дело посмотрели серьезно. Скоро моя судьба была решена. В наказание за надпись я был стерт с золотой доски, которая висела в каждом классе

⁶ Не следует говорить вслух все, что думаешь (фр.).

⁷ Тем более писать все, что думаешь (фр.).

и где записывали «отличных учеников», то есть тех, кто две пересадки подряд числился в первом разряде. Стерли с доски меня, но мои соседи по местам, которые мы получили при пересадке, порядковые места свои сохранили, так что только мое место среди них осталось пустым. На эту доску ходили смотреть, как на курьез, и для меня вышла только реклама. Когда к нам перевели другого учителя по логике, А.Н. Гилярова, который позднее был профессором Киевского университета, и прежний учитель нас ему представлял, я слышал, как он спросил вполголоса: «А какой здесь Маклаков?» Я стал известностью благодаря необычной комбинации отличных успехов и того дурного поведения, которое директор аттестовал как «восстание». Этот инцидент определил мою дальнейшую карьеру в гимназии.

Отсутствие мое на золотой доске меня не огорчало; оно могло даже мне льстить, как оригинальность; я интересовался другим: получу ли я, как всегда, при переходе в следующий класс награду, то есть книги? Я раньше уже получил Курциуса, «Историю Греции», Пушкина и Шиллера в подлиннике. До ближайшего экзамена было достаточно времени, чтобы наложенное на меня наказание было погашено сроком, но произошло новое событие.

Предстояли экзамены в 6-м классе, то есть письменные и устные. На письменные экзамены по латыни нас в чужом классе рассадили по-своему. Я оказался в первом ряду, но выдвинутым немного вперед; считая это ошибкой, я свой стол поставил на обычное место; но явился директор и велел мой стол поставить по-прежнему впереди и отдельным. Перед окончанием экзамена, когда должны были отбирать наши работы, я хотел одно слово проверить и, повернувшись к ближайшему соседу Голяшкину, спросил, как он его написал. Директор в это время проходил по коридору, это заметил в окно, вошел в класс и велел мне собрать бумаги и уходить. Быть прогнанным с экзамена значило быть оставленным на второй год. Свою работу я экзаменатору сдал, но, догнав в коридоре директора, спросил, должен ли я приходить на остальные экзамены. Он долго молча на меня с грустью смотрел и ответил: «Приходите, если хотите, но я ничего вам обещать не могу». Я остальные экзамены сдал.

Перед заседанием Педагогического совета, когда решалась судьба всех экзаменовавшихся, один из наших добрых учителей Н.Н. Хмелев, позднее гласный земской управы и мой товарищ по кадетской партии, мне сказал в успокоение: «Мы вас отстоим». Потом я узнал, что директор настаивал, чтобы я был оставлен на второй год, но что учителя за меня заступились и что решение по моему делу вынесено было компромиссное: экзамены признать недействительными, но позволить мне держать их еще раз, уже осенью.

Такое решение для меня не было страшным, но оно мне портило лето, и это возмутило отца. Он написал помощнику попечителя Я. И. Вайнбергу, своему старому соратнику по естествознанию, что ввиду такой несправедливости – ибо я все-таки все экзамены сдал – он хочет взять меня из 5-й гимназии. Вайнберг официально запросил нашего директора, и тот ответил длинным объяснением, которое Вайнберг отцу переслал. Там все правильно излагалось. Директор писал, что потому меня отсадил от других, что не имел доверия к моей дисциплине, что я тотчас самовольно вернулся на прежнее место, что я «подсказывал» Голяшкину. Забавно, что ему не пришло в голову, что я совсем не подсказывал, а спрашивал для себя самого. Далее письмо говорило, что ввиду экзаменов он не мог собрать тогда же Педагогического совета, поэтому разрешил мне экзамены продолжать, предупредив, что ничего не обещает. В результате Вайнберг уж от себя советовал отцу не обвинять гимназии, находя, что директор правильно доверия ко мне не имел и что он, по дружбе, советует отцу дать мне соответственный моему возрасту нагоняй, но не брать меня из гимназии. Мне будет в другой предшествовать дурная слава, а моя гимназия меня все-таки ценила и не захотела меня погубить. Я лично присоединился к такому совету. Экзамены мне не были страшны. Будет ли новая гимназия лучше, я не был уверен, а уходить от старых товарищей мне не хотелось. Наконец, учителя все-таки поддержали меня против директора.

Конечно, о переводной награде в этих условиях не могло быть и речи. Экзамены я держал уже после того, как награды были присуждены; я их держал как бы вновь поступающим. Это покончило и аномалию пустого места на золотой доске. Я не помню, в каком порядке это устроили; был ли мне сбавлен балл по поведению, и я был переведен во второй разряд учеников, или остался в первом разряде, но со специальным лишением меня права на золотую доску. Но видимых следов моей опалы на доске уже не было. Это для меня оказалось полезным. К нам приехал министр Делянов со всесильным в то время товарищем министра, латинистом Аничковым. Они посещали классы, и для них учителя спрашивали тех, кем можно было похвастаться. В моем классе спросили и меня. Моим ответом остались довольны. Новая доска не дала повода мои грехи поминать перед министром, что бы после могло мне повредить. В 1887 году были выпускные экзамены. Они происходили, как всегда, в торжественной обстановке. Тема присылалась из округа в запечатанном конверте. Работы учеников туда же посылались, и округ давал заключение об уровне знаний во всех гимназиях. Эти заключения потом где-то печатались. И лучшая работа по «латинскому языку» оказалась моей. В отчете округа было написано, что она не только относительно лучшая, но безусловно отличная. Этот успех мне объяснить было не трудно. Я недаром занимал учителей разговорами, чтобы отвлекать их от расспросов и постановок отметок. В моем переводе я умышленно употреблял необычайные выражения, вроде *Infinitivus historicus*⁸ или *Inquit*⁹ в причудливых комбинациях. Округ в этом увидел знакомство с *finesse de la langue*.¹⁰ Как бы то ни было, я своей работой доставил честь нашей гимназии, и латинский учитель с этим при всех меня поздравлял.

Казалось, что мне больше ничего не угрожает и поступление в Университет обеспечено. Но оказалось, что это не так. По успехам отметки у меня были отличные, но если бы и по поведению я от гимназии получил полный балл, я должен был бы получить и золотую медаль. Но если бы полного балла по поведению я не получил, то в Университет бы не был допущен. О золотой медали для меня директор не хотел даже слышать. Но не пустить меня в Университет при прочих отметках, при известной округу отличной латинской работе и аттестации гимназии о «любви к древним грамматикам» было скандалом. Главной обязанностью гимназии было все же учить и испытывать знания, а не дрессировать поведение. Но по-видимому, классическая гимназия во время реакции 80-х годов имела другое задание – «формировать новую породу людей», то есть то, что теперь откровенно делают в Советской России. Требованиям же для этой породы я не удовлетворял. Выхода из противоречия не было. Кончилось опять компромиссом. Полный балл по поведению мне поставили, но медали не дали. Что было еще нелепее, ее без всякого основания заменили серебряной. Я не знаю, чему я таким исходом обязан. Заступились ли за меня учителя, или директор, который был очень нездоров и умер через несколько недель, не имел уже прежней энергии, чтобы настаивать. Прибавлю, что через несколько лет новый инспектор студентов СВ. Добров конфиденциально мне показал отношение, которое было направлено в Университет нашей гимназией. Не знаю, была ли посылка таких отношений нормой или была применена только ко мне, но в нем излагалось, что мои успехи в науках внушили мне опасное самомнение и я стал воображать, что общие правила для меня не обязательны. Не знаю и того, имел ли этот психологический экскурс целью мне повредить или, напротив, помочь. Как бы то ни было, с гимназией тогда было покончено. Оставался последний обычный долг: указать гимназии избранный мной факультет. Это указание ни к чему не обязывало, так как прошение в Университет подавалось только осенью, и кроме того, первые месяцы переходить с одного

⁸ Историческое неопределенное наклонение (лат.).

⁹ Молвил (лат.).

¹⁰ Тонкости языка (фр.).

факультета на другой можно было свободно, без всяких формальностей. И тут обнаружилось, как недостаточно для жизни нас подготовляла гимназия. Несмотря на все мои успехи в науках, она никаких ясно выраженных интересов, которые бы сами собой за меня решали этот вопрос, во мне развить не успела. Я не хотел следовать «моде» и идти на незнакомый и непонятный мне юридический факультет. Хвалебный отзыв в моем гимназическом аттестате о моей любви к древним грамматикам, оценка округом моей латинской работы и общие ожидания – все согласно указывало мне на филологический факультет; но я из досады против гимназии ни за что не хотел доставить ей этого удовольствия. И так как я все-таки, помимо гимназии, интересовался и даже ребячески занимался естествознанием и делал опыты по популярной книге Тиссандье, то я и указал со злорадством естественный факультет. Но это не было ни окончательным, ни даже просто сознательным выбором.

Глава 3

Лето прошло, наступил срок зачисляться в Университет, а вопрос о выборе мной факультета вперед не подвинулся. За это время, в ознаменование окончания мной курса в гимназии, дома мне «подарили» путешествие в Екатеринбург. Там в этом году открылась выставка по горному делу. Со мной поехал мой бывший учитель И.А. Каблуков. В течение трех недель мы ездили с ним по Волге и Каме, были в Перми, Екатеринбурге и на Тагильских заводах.¹¹ Каблуков не мог увеличить моей склонности к естествознанию. За меня решило то, что ничего более соблазнительного я тогда перед собой не видел. Университет к тому же привлекал не специальными знаниями, которые в нем преподавались; выбор факультета казался поэтому второстепенным вопросом. Университет, особенно Московский, для моего поколения казался обетованной землей, оазисом среди мертвой пустыни. Недаром Лермонтов, воспитанный в аристократическом кругу, бывший в Университете в его худшую пору, Николаевские годы, вспоминал о нем в таких выражениях:

Святое место. Помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры
О Боге, о вселенной и о том,
Как пить: с водой иль просто голый ром?
Их гордый вид пред грозными властями,
Их сюртуки, висящие клочками, и т. д.

Еще ребенком однажды я слышал у нас за столом возмущение старших, что полиция осмелилась войти в Университет без приглашения ректора; ссылались тогда на какой-то указ Екатерины II, который будто бы делал Университет как бы «экстерриториальным» владением. Сомневаюсь, чтобы такой указ действительно был, и в особенности чтобы он соблюдался. Но пережиток его сохранялся в курьезной традиции: в Татьянин день, 12 января, студенты и массы пользовались полной свободой собраний и слова. Эта их привилегия всеми тогда уважалась. Таким образом Университет представлял все-таки особенный мир, к которому те, кто стоял вне его, относились по-разному: некультурные массы с недружелюбием, как к «господам» и «интеллигентам», которые считались «бунтовщиками», что в массах тогда не возбуждало симпатий; на моей памяти на этой именно почве произошло избиение студентов «охотнорядцами» в 70-х годах. А для светского круга – почти все студенты представлялись лохматыми и дурно одетыми, что казалось атрибутом «демократии» и не пользовалось сочувствием в «обществе». В глазах же учащейся молодежи Университет был окружен «обаянием», как нечто, от обыденной прозы отличное.

Под влиянием таких чувств я поступил на естественный факультет, и разочарование не замедлило прийти. Во-первых, в преподавании. Профессора на естественном факультете вовсе не рисовали нам те перспективы, которые, по моему ожиданию, должно было открывать «естествознание». Помню, что в это самое время в общей печати шла полемика о дарвинизме. Н.Н. Страхов напечатал статью «Полное опровержение дарвинизма», сделанное будто бы Н.Я. Данилевским. Ему отвечал блестящей, едкой, но односторонней репликой К.А. Тимирязев: «Опровергнут ли дарвинизм?» Я думал, что профессора естественного факультета не замедлят сказать свое слово по такому вопросу. Тщетные ожидания. Профес-

¹¹ С этим путешествием причудливо соединились в моей памяти два одновременных события, не имевших с ним решительно никакой внутренней связи: полное солнечное затмение и смерть М.Н. Каткова.

сор анатомии Д.Н. Зернов на первой лекции без предисловия показывал и описывал только строение позвонка; Горожанкин, ботаник по морфологии, – формы и части цветка; А.П. Богданов – червей. Мне было скучно, а студенты, уже кое-что знавшие по естествознанию, были довольны: помню, как восхищался лекцией Горожанкина называвший себя специалистом в ботанике, прославившийся потом на совершенно других поприщах однокурсник мой А.И. Шингарев. Значит, дело было во мне, а не в «лекциях». Я из этого немедленно заключил, что я попал не туда, где мне быть надлежало. В этом была доля правды, но это еще было не поздно исправить. Я стал ходить на лекции других факультетов искать там того, что мне было нужно.

Но не лучше было первое время и с другими ожиданиями от университетской атмосферы. Она была очень далека от заманчивых картин лермонтовской аудитории. После гимназии я в ней скорее ощутил пустоту. В гимназии опорой и источником впечатлений были одноклассники из разных слоев общества. В Университете это сразу исчезло. Гимназия, то есть совместное пребывание в классе, за одной общей работой, более сближает учащихся, чем спорадические их встречи в аудиториях. Своих гимназических товарищей я растерял, так как они разбрелись по другим факультетам. Со случайными посетителями общих аудиторий сходить было труднее. Для сближения с ними существовали другие основы, которых мне сначала не было видно. У провинциальных студентов они были в происхождении из одного города и даже часто одной гимназии. Приезжая в Москву, они устраивались здесь вне семьи, почему, естественно, должны были более друг за друга держаться: на этой почве и возникли «землячества». Для москвичей этого не было нужно. Они оставались жить в том же городе, часто в своей же семье; вследствие этого Московского землячества не было вовсе. Потому в смысле товарищеского воздействия друг на друга Университет мне давал очень мало. И нужно не забывать, в какое время я в Университет поступал.

Студенты моего поколения даже внешним образом принадлежали к переходной эпохе. Мы поступили в Университет после устава 1884 года и носили форму; старший курс ходил еще в штатском. Так смешались и различались по платью питомцы эпохи «реформ» и питомцы «реакции».

Устав 1884 года был первым органическим актом нового царствования. Его Катков приветствовал известной статьей «Встаньте, господа. Правительство идет, правительство возвращается». Он предсказывал, что университетская реформа только начало и указывает направление «нового курса». Он не ошибся. Реформа Университета имела целью воспитывать новых людей. Она сразу привела к «достижениям»; их усмотрели в сенсационном посещении Московского университета Александром III в мае 1886 года.

Конечно, для успеха этого необычного посещения были приняты и полицейские меры; но ими одними объяснить всего невозможно. Даже предвзятые настроенные люди не могли не признать, что молодежь вела себя не так, как полагалось ей, по ее прежней репутации. При приезде Государя она обнаружила настроение, которое до тех пор бывало только в привилегированных заведениях. Такой восторженный прием Государя в Университете не был возможен ни раньше, ни позже. Он произвел впечатление. Московские обыватели обрадовались, что «бунтовщики» так встретили своего Государя. Катков ликовал. Помню его передовицу: «Все в России томилось в ожидании правительства. Оно возвратилось... И вот на своем месте оказалась и наша молодежь...» Он описывал посещение Государя: «Радостные клики студентов знаменательно сливались с кликами собравшегося около университета народа». И он заключал, что Россия вышла, наконец, из эпохи волнений и смут.

Легкомысленно делать выводы из криков толпы; мы их наслушались и в 1917 году, и теперь в Советской России. Еще легкомысленней было бы думать, что одного устава могло бы быть достаточно, чтобы студенчество переродилось в два года. Но не умнее воображать,

что прием был «подстроен» и что в нем приняли участие только «подобранные» элементы студенчества. Он был и нов и знаменателен, и это надо признать.

Само создание нового человека началось много раньше, еще с Толстовской гимназии. Дело не в классицизме, который мог сам по себе быть благотворен, а в старании гимназий создавать соответствующих «видам правительства» благонадежных людей. Как жестока была эта система, можно судить по тому, что ее результаты оказывались тем печальнее, чем гимназия была лучше поставлена; и ее главными жертвами были всегда преуспевшие, то есть первые ученики. Они меньше лентяев оказывались приспособлены к жизни. Но не гимназия и не устав 1884 года переродили студенческую массу к 1886 году; это сделало настроение самого общества, которое к этому времени определилось и которое студенчество только на себе отражало. Устав 1884 года и не мог продолжать дело Толстовской гимназии. Только старшие студенты ощущали потерю некоторых прежних студенческих вольностей и этим могли быть недовольны. Для вновь поступающих Университет, и при новом уставе, в сравнении с гимназией был местом такой полной свободы, что мы чувствовали себя на свежем воздухе. Нас не обижало, как старших товарищей, ни обязательное ношение формы, ни присутствие в Университете педелей¹² и инспекции. Устав 1884 года больнее ударил по профессорам, по их автономии, чем по студентам.

Припоминаю показательный эпизод. Когда я был еще гимназистом, я от старших слышал много нападок на новый Университетский устав, и его негодность была для меня аксиомой. После брызгаловских беспорядков, когда в числе студенческих требований стояло «долой новый устав», я как-то был у моих товарищей по гимназии Чичаговых, сыновей архитектора, выстроившего городскую думу в Москве. Разговор зашел о требовании «отмены устава». Без всякой иронии, далекий от академической жизни, архитектор Д.Н. Чичагов нас спросил: «Что, собственно, вам в новом уставе не нравится?» В ответ мы ничего серьезного сказать не могли. Мы ничего не знали. Нам, новым студентам, устав ни в чем не мешал; мы стали говорить о запрещении библиотек, землячества, о несправедливостях в распределении стипендии. Д.Н. Чичагов слушал внимательно, видимо стараясь понять, и спросил в недоумении: «Но ведь все это можно исправить, не отменяя устава». Позднее я знал, что было бы нужно против самого устава сказать. А еще позднее я понял, что в совете архитектора Д.Н. Чичагова исправлять недостатки, не разрушая самого здания, было то правило государственной мудрости, которого не хватало не только моему поколению.

Меры, которые новый устав вводил против студентов, все заключались в параграфе, который гласил: «Студенты являются отдельными посетителями Университета, и им запрещаются всякие действия, носящие корпоративный характер». Такие предписания полностью осуществить невозможно, и они делают смешным того, кто их требует. При поступлении в Университет каждый студент должен был подписать обязательство, что не будет участвовать в «обществах», так называемых «землячествах», то есть в кружках уроженцев того же города. Конечно, уничтожить такие частные кружки было невозможно, и такая подписка только их рекламировала. Но дурные порядки всегда более всего дискредитируют чересчур усердные их исполнители. Это произошло и в Московском университете. Таким не по разуму усердным исполнителем оказался новый инспектор Брызгалов, человек с черной бородой и мертвым лицом, на котором приветливая улыбка казалась гримасой. Он требовал, чтобы студенты вели себя как «отдельные посетители», но в то же время хотел среди них создать свою гвардию, как бы теперешний «комсомол», на помощь правительству. Почвой для такой привилегированной гвардии не могла, как теперь, быть политика. Ее вообще тогда не допускали. Формально эта гвардия состояла из студенческого оркестра и хора; они работали под непосредственным оком инспектора, собирались в его помещении. Это они устроили тот

¹² От нем. pedell – служитель при суде.

концерт, который в 1886 году в Университете посетил Государь. Императрице они поднесли букет из ландышей, которые и стали эмблемой нового типа студентов. Они за это пользовались не только разными привилегиями в области стипендий и освобождения от платы; инспектор заступался за них даже на экзаменах, ссылаясь на то патриотическое дело, которому они себя посвящали. Два раза в год они давали концерты в пользу «недостаточных студентов», и выручка распределялась инспектором. Не могу поручиться, что все эти рассказы точны. У оркестра и хора была очень дурная слава, которая могла помешать быть к ним беспристрастным. Но привилегии, которые им явно оказывались перед другими, и подкладка их привилегий переполнили чашу, и последовал взрыв. Я не знаю закулисной истории того, что случилось; было ли это организовано, кем и зачем, из какой среды все это вышло? Для меня было все неожиданно.

До гимназии и во время гимназии я рос в среде людей, имеющих, так или иначе, прочное положение в обществе, и они не были склонны взрывать его основы. Это настроение я от них унаследовал. Многое поэтому мне было тогда непонятно. Я не понимал, почему осуждали посещение Государем Университета, почему чуждались студентов, которые участвовали в оркестре и хоре и носили ландыши в своих петлицах.

22 ноября должен был состояться очередной концерт оркестра и хора. Если бы меня тогда позвали быть на нем распорядителем или развозить билеты по городу, я бы не видел основания от этого уклониться. Но никто меня не звал, и я пошел от себя простым посетителем.

Ожидая начала концерта, я сидел в боковых залах собрания, когда мимо нас прошел инспектор Брызгалов. Едва он прошел, как в соседней зале раздался какой-то треск, и все туда бросились. Студент Синявский только что дал Брызгалову пощечину. К счастью, этого я не видел; зрелище такого грубого насилия, вероятно, меня возмутило бы и спутало бы все впечатление. Когда я туда подбежал, я видел только, как два педеля держали за руки бледного незнакомого мне студента. Его потащили к выходу. Толпа студентов росла, пока его выводили. Публика не понимала кругом, что случилось. Мы объясняли, что Брызгалову дали пощечину. Распорядители с ландышами всех успокаивали и уверяли, что все это вздор.

Мне трудно разобраться в тогдашних своих ощущениях. В глазах стояло только лицо арестованного и увиденного, как казалось тогда, на расправу. Он был по высочайшему повелению присужден к трем годам дисциплинарного батальона. В первый раз в своей жизни я увидел человека, который всей своей жизнью для чего-то пожертвовал. Невольно пронеслись в голове те рассказы матери о святых, которые в этом мире живут, и то, что мы читали про «мучеников», которые от своей веры не хотели отречься. Мне казалось, что такого «мученика» я видел своими глазами. Это было одно из тех впечатлений, которые в молодости не проходят бесследно, хотя и приводят иногда к различным последствиям. Подобное смутное чувство было, очевидно, не у меня одного. Все хотели что-то делать, чем-то себя проявить, но не знали, что именно надо было им делать. Помогла вековая традиция. Студенческие беспорядки всегда начинались со «сходки». Все с напряжением ждали, кто даст ей первый сигнал. В понедельник 23 ноября из окон аудитории старого здания, выходящих в сад, мы увидели толпу студентов. Все туда кинулись. Человек двести стояли, вполголоса между собой разговаривая. Я там не увидел знакомых, но кто-то всем сообщал, что общая сходка назначена на другой день, в 12 часов на дворе старого здания.

Когда на другой день я пришел, толпа заполняла уже Моховую. На дворе около входа в правление стояла небольшая группа студентов и кричала: «Ректора!» Другие смотрели на это с улицы из-за решетки, приходили и вновь уходили. Приехал попечитель граф Капнист; он был на торжестве в университетской Екатерининской клинике (было 24 ноября – Екатеринбургин день). Его оттуда вызвали, он приехал, весь красный, грозно потребовал, чтобы все

расходились. Его освистали. Потом с Тверской и Никитской появилось конное войско, и Университет со всех сторон оказался оцепленным. «Студенческий бунт» был оформлен.

Я не помню в точности, как в этот день развивались события, потому что, стараясь все увидеть, перебегал с места на место. Знаю, что толпу со двора пригласили в актовъ зал; я там не был. Туда пришел ректор. Студент старшего курса Гофштеттер от имени студентов изложил ему разные требования, начиная с освобождения Синявского и отставки Брызгалова и кончая «отменой устава 1884 года». У «виновных» отобрали билеты и запретили вход в Университет до окончания над ними суда. Я, как не бывший в актовом зале, участия в беспорядках не принимал; был только на улице в толпе любопытствующих. Несмотря на это, я молвой оказался к беспорядкам припутан.

Когда я откуда-то вернулся к старому зданию, актовъ зал уже опустел; студенты стояли на тротуарах и ждали дальнейших событий. Я тоже стоял на углу под часами. К нам подъехал популярный в Москве полицмейстер Огарев, на классической паре с пристяжкой. Самым миролюбивым тоном он стал советовать нам разойтись: «Чего вы еще дожидаетесь? На сегодня все кончено». Но нервы у нас были взвинчены. Я громогласно ответил ему: «Пока вы не уберете полицию, мы не разойдемся». Не знаю, какие у Огарева были намерения при моем повышенном возгласе, но он неожиданно крикнул полицейским, указывая на меня: «Взять его». Меня взяли под руки, подвели к саням и посадили рядом с Огаревым. Это произошло на глазах у всех и произвело сенсацию; толпа стала что-то кричать. Но лошади тронулись, и Огарев поехал со мной по Моховой среди стоявших шпалерами войск; перед его экипажем они расступались. Когда мы выехали из оцепления, он меня спросил: «Где вас ссадить?» Я сказал: «Отпустите меня здесь, я хочу вернуться в Университет». – «Не надейтесь на это; вас не пропустят. А где вы живете?» – «На Тверской». – «Я на углу ее вас спущу». Когда на углу Тверской он меня отпустил, он спросил: «А как ваша фамилия?» Я сказал. «Вы сын Алексея Николаевича?» – «Да». – «Ну так идите домой и скажите отцу от меня, чтобы завтра из дома он вас не пускал». Когда я не сразу, а после попытки пробраться в Университет, наконец, вернулся домой, там уже все знали про моехождение, раздували его в меру фантазии, приписывали мне «геройскую» роль, и, по крыловскому выражению, я «без драки попал в большие забияки».

Так кончился первый день беспорядков. Участники сходки были так немногочисленны, что занятия в Университете после этого продолжались нормально. Только городовые, которые у входа проверяли билеты, напоминали, что в Университете что-то произошло. Но беспорядки питают сами себя. Все те, кому запретили вход в Университет, стали делать «сходки» на улицах; из сочувствия и даже любопытства к ним присоединялись другие. В среду мы собрались около клиники на Рождественке, и все прошло гладко; но в четверг, 26 ноября, сходка была назначена на Страстном бульваре, против Екатерининской университетской больницы. Она была слишком близко от жандармских казарм и катковской типографии, около которой беспорядки происходили и раньше. Ее разогнали силой, по выражению официальных сообщений – «движением войск». Это движение было так энергично, что по Москве разнесся слух, будто были не только пострадавшие, но и убитые. Между прочим, лошадью был помят Аргунов, позднейший деятель социалистов-революционеров.

Тогда негодование охватило решительно всех. Тщетно смущенная власть эти слухи опровергала; напрасно те, кого считали убитыми, оказывались по проверке в добром здравии. Никто не верил опровержениям, и они только больше нас возмущали. Помню резоны П.Д. Голохвастова, который меня успокаивал: «Вы не могли убитых найти и за это на власть негодуете. Не может же она убить кого-либо для вашего удовольствия?» Эта шутка казалась кощунством. В Университете не могло состояться ни одной уже лекции. Попечитель, показавшийся туда в субботу, был снова освистан. Университет пришлось закрыть, чтобы дать

страстям успокоиться. За Московским университетом аналогичные движения произошли и в других, и скоро пять русских университетов оказались закрытыми.

В подавленной атмосфере тогдашнего времени, когда все угрюмо безмолвствовало, студенческие беспорядки многим показались отрадным симптомом пробуждения самого общества. Это можно понять. Что бы мы почувствовали, если нечто подобное произошло бы сейчас в Советской России? Либеральная общественность ликовала: Университет за себя постоял. «Позор» царского посещения был теперь смыт. Катков, который к осени 1887 года уже умер, был посрамлен в своей преждевременной радости. Молодежь оказалась такой, какой бывала и раньше. Конечно, в газетах нельзя было писать о беспорядках ни единого слова, но стоустая молва этот пробел пополняла. Студенты чувствовали себя героями. На ближайшей Татьяне в «Стрельне» и в «Яре» нас осыпали хвалами ораторы, которых мы, по традиции Татьянина дня, выволакивали из кабинетов ресторанов для произнесения речи. С.А. Муромцев, как всегда величавый и важный, нам говорил, что студенческое поведение дает надежду на то, что у нас создается то, чего, к несчастью, еще нет, – русское общество. Без намеков, ставя точки над «і», нас восхвалял В.А. Гольцев. Татьянин день по традиции был днем бесцензурным, и за то, что там говорилось, ни с кого не взыскивалось. Но эти похвалы раздавались по нашему адресу не только во взвинченной атмосфере Татьянина дня. Я не забуду, как Г.А. Джаншиев мне уже наедине объяснял, какой камень мы – молодежь – сняли с души всех тех, кто уже переставал верить в Россию.

Но наблюдательному человеку ход беспорядков должен был бы скорее указать на продолжающийся еще упадок общественного настроения; ведь даже та студенческая среда, которая оказалась способна на риск, откликнулась *только* на призыв к *студенческой* солидарности, не шла дальше чисто университетских желаний и никакой «политики» в них включать не хотела. Вот характерная сценка, на которой я присутствовал сам.

На сходке 26 ноября на Страстном бульваре студенты заполняли бульвар, сидели на скамьях и гуляли, ожидая событий. Вдруг прошел слух, что на бульваре есть «посторонние» люди, которые хотели «вмешать в дело политику». Надо было видеть впечатление, которое это известие произвело на собравшихся студентов. Мы бросились по указанному направлению. На скамье рядом со студентами в форме сидел штатский в серой барашковой шапке.

«Это вы хотите вмешать в наше дело *политику*».

Его поразила в устах студентов такая постановка вопроса. Он стал объяснять, что надо использовать случай, чтобы высказать некоторые общие пожелания. Дальше слушать мы не хотели.

«Если вы собираетесь это сделать, мы тотчас уходим; оставайтесь одни».

Студенческая толпа поддерживала нас сочувственными возгласами. Он объявил, что если мы не хотим, то, конечно, он этого делать не станет. Долго говорить не пришлось. Показались казаки и жандармы, и началось избиение.

Этот эпизод характерен. Человек в серой барашковой шапке не был совсем «посторонним»; он был студентом-юристом 4-го курса. Только он был *старшего* поколения. И мы уже не понимали друг друга. Слово «политика» нас оттолкнуло. А мы были *большинство* в это время; от нас зависела удача движения; и «политики» мы не хотели. Ее действительно и не было в беспорядках этого года. Потому они и сошли для всех так благополучно. Власть опасности в них не увидела и успокоилась. Пострадавший Брызгалов был смещен и скоро умер. На его место был назначен прямой его антипод Св. Добров. Синявский, отбив в арестантских ротах трехлетнее наказание, вернулся в Москву. Я тогда с ним познакомился. Исторические герои теряют при близком знакомстве. Я могу сказать положительно: громадное большинство университетской молодежи того времени на «политику» не реагировало.

Не могу на этом покончить с серой барашковой шапкой. Судьба нас впоследствии сблизил, и следующая встреча была забавна и характерна.

Этой зимой был юбилей Ньютона, который праздновался в соединенном заседании нескольких ученых обществ, под председательством профессора В.Я. Цингера. Как естественник, я пошел на заседание. Было много студентов. Мы увидели за столом Д.И. Менделеева. Он был в это время особенно популярен, не как великий ученый, а как «протестант». Тогда рассказывали, будто во время беспорядков в Петербургском университете Менделеев заступился за студентов и, вызванный к министру народного просвещения, на вопрос последнего, знает ли он, Менделеев, что его ожидает, гордо ответил: «Знаю: лучшая кафедра в Европе». Не знаю, правда ли это, но нам это очень понравилось, и Менделеев стал нашим героем. Неожиданно увидев его на заседании, мы решили, что этого *так оставить* нельзя. Во время антракта мы заявили председателю Цингеру, что если Менделееву не будет предложено почетное председательство, то мы сорвем заседание. В.Я. Цингер с сумасшедшими спорить не стал. И хотя Менделеев был специально приглашен на это собрание, хотя его присутствие сюрпризом не было ни для кого, кроме нас, после возобновления заседания Цингер заявил торжественным тоном, что, узнав, что среди нас присутствует знаменитый ученый (кто-то из нас закричал: «И общественный деятель!») Д. И. Менделеев, он просит его принять на себя почетное председательствование на остальную часть заседания. Мы неистово аплодировали и вопили. Публика недоумевала, но не возражала. Мы были довольны. Но наутро, вспоминая происшедшее, я нашел, что надо еще что-то сделать. В момент раздумий я получил приглашение прийти немедленно на квартиру С.П. Невзоровой по неотложному делу.

Два слова об этой квартире. Старушка С.П. Невзорова, сибирская уроженка, в очках, со стриженной седой головой, была одной из многочисленных хозяек квартир, где жили студенты. Это было особой профессией. Для одних содержание таких квартир было «коммерцией», для других – «служением обществу». Софья Петровна была типичной хозяйкой второй категории; она жила одной жизнью со своими молодыми жильцами и со всеми, кто к ним приходил. Защитница их и помощница, ничего для них не жалевавшая, все им прощавшая, не знавшая другой семьи, кроме той, которая у нее образовалась, она устроила у себя центр студенческих конспирации. Каждый мог к ней привести переночевать нелегального, спрятать запрещенную литературу, устроить подозрительное собрание и т. д. А в мирное время к ней собирались то те, то другие. Совместно в честь хозяйки готовили сибирские пельмени, пока кто-нибудь читал вслух новинки литературы (как сейчас, помню выходявшую тогда в «Вестнике Европы» щедринскую «Пошехонскую старину»). Потом поглощали пельмени, запивая чаем или пивом, и пели студенческие песни. Иногда спорили до потери голоса и хрипоты. Такие квартиры были во все времена. О них рассказывал Лежнев в тургеневском «Рудине». Они не меняли характера в течение века. Ибо главное – 20 лет у участников – оставалось всегда. Много воспоминаний связано у меня с такими квартирами. Они исправляли воспитание питомцев Толстовской гимназии. Не всем были по вкусу нравы подобных квартир. Когда мой брат Николай, будущий министр внутренних дел, стал студентом, я его привел к Софье Петровне. Все там его удивляло и корбило: он не прошел моей школы. А его вежливость и воспитанность поливали холодной водой нашу публику. Более он сюда не ходил, да я его и не звал. Возвращаюсь к рассказу.

У С.П. Невзоровой я застал тогда целое общество. Был и ставший позднее известным общественным деятелем Г.А. Фальборк, вечно кипящий, все преувеличивающий. Не знаю, кем он был в это время. Вероятно, исключенным студентом; это было его обычное состояние. Он пришел сказать, что проезд Менделеева надо использовать, послать к нему депутацию; уверял, что с Менделеевым он очень дружен, что предупредил его о депутатии и что он ее ждет. Менделеев пробудет еще несколько дней, но откладывать нечего. Надо идти. Все немедленно согласилось быть в депутатии. Никто себя не спросил, зачем и, главное,

от кого идет депутация? Ждали только Гуковского. Я слышал это имя, но до тех пор его не встречал. Когда он явился, я неожиданно узнал в нем незнакомца в серой барашковой шапке.

Мы двинулись в путь. Фальборк довел нас до «Европы», где стоял Менделеев, но с нами войти не захотел. Говорил, что ему, как близкому другу Менделеева, в депутации неловко участвовать. Входя по лестнице, мы решили, что начнем с того, что явились как депутация. В разговоре станет понятно, о чем говорить. На стук в дверь кто-то ответил: «Войдите». За перегородкой передней мы увидели профессор А.Г. Столетова и остолбенели. Перспектива его встретить нам в голову не приходила, а разговор *при нем* не прельщал. Мы стояли в коридоре и переглядывались. Чей-то голос нетерпеливо сказал: «Ну что же, входите». И показалась фигура Менделеева. Тогда один из нас объявил торжественным тоном: «Депутация Московского университета». Менделеев как-то стремительно бросился к нам, постепенно вытеснял нас назад в коридор, низко кланялся, торопливо жал всем нам руки. Он говорил: «Благодарю, очень благодарю, но извините, не могу, никак не могу». Когда мы очутились в коридоре, он, держась рукой за дверь, все еще кланялся, повторял: «Благодарю, не могу» и скрылся. Щелкнул замок. Мы разошлись не без конфуза.

В этот день я пошел на заседание Московского губернского земства. Вспоминая об утреннем посещении, я решил один отправиться опять к Менделееву, узнать, что означал такой странный прием. Гостиница была в двух шагах. Мне ответили, что Менделеев с почтовым поездом уехал назад в Петербург. Делать было нечего. Но через несколько дней кто-то из профессоров при мне рассказал моему отцу, что, заехав к Менделееву в назначенный час, он застал его на отъезде. Менделеев объяснил, что приехал на несколько дней отдохнуть и кое-кого увидеть, но что здесь все рехнулись. Накануне ему преподнесли «сюрприз» председательствования, а на другой день в одно утро пришло четыре или пять студенческих депутатий. Он принял одну, не зная, в чем дело; остальных не стал и пускать. Но, поняв, что ему не дадут здесь покоя, поторопился уехать.

Когда мы рассказали про наше посещение Фальборку, он не смутился. Он дал нам тонко понять, будто на Менделеева было произведено властями давление и что его из Москвы удалили. Это объяснение нам больше понравилось. Я рассказал об этом эпизоде потому, что он очень типичен. На почве дезорганизованное™ студенческой массы так фабриковали тогда депутации, которые считали себя вправе говорить от имени всех.

А.И. Гуковского я потом видел очень часто. Годами он был немного старше меня, но бесконечно старше опытом и развитием. В глазах моего поколения он и его сверстники казались стариками, которые видели лучшие дни. Мы относились к ним с уважением, но их не понимали и за ними не шли. В грубой форме это сказало, когда мы грозили уйти со Страстного бульвара. Это всегда ощущалось позднее. Нас уже разделяла идейная пропасть. Говорю при этом только про передовую молодежь нашего времени, не «белоподкладочников». Лично я испытывал это с Гуковским. Я бывал у него очень часто, он меня просвещал политически, давал мне литературу, но держался от меня в стороне. Я никогда его не спрашивал, даже когда увиделся с ним здесь, в Париже, узнал ли он меня в числе тех, кто на Страстном бульваре заставил его замолчать. По той или другой причине тогда он мне или не верил, или меня щадил. Скоро он был арестован и посажен на три года в Шлиссельбургскую крепость. Несмотря на мою близость с ним, я ни к чему не оказался примешан. Про его связь с активными революционерами и про его деятельность я не знал ничего.

Хочу добавить один штрих к обрисовке фигуры А. Гуковского. Когда я был уже филологом и работал у профессора Виноградова, я получил письмо от Гуковского. Выпущенный из Шлиссельбургской крепости, где в припадке душевного расстройства он выбросился из окна и разбился, он жил где-то в провинции. В это время я был занят одним предприятием, в котором участвовал и Виноградов. Кружок студентов затеял издательство. Пользуясь отсутствием конвенции об авторском праве, мы задумали выпускать переводы политических и

исторических классиков по грошовой цене. Все работали даром: переводы оплачивались пятью рублями за лист. Мы могли выпускать книги за четвертак. Виноградов руководил этим делом. В числе намеченных переводов была книга Токвиля «L'ancien régime».¹³ Но сколько ни представляли Виноградову образчиков перевода, он их браковал. Переводить Токвиля было трудно и было стыдно выпустить плохой перевод такого стилиста, как он. Получив письмо от Гуковского, который прекрасно владел пером (он сочинял все студенческие прокламации), я предложил ему неудавшийся перевод. Он согласился и скоро прислал две главы на просмотр. Они привели в восторг Виноградова; перевод был не только лучше других, но хорош абсолютно. Мы послали ему деньги и ждали дальнейших глав. Неожиданно я получил второе письмо от Гуковского. Переводя Токвиля, он нашел, что это сочинение отсталое и что распространять его вредно, поэтому он от перевода отказывается и полученные деньги возвращает назад. Не помню его аргументов. Виноградов сам ему отвечал, настойчиво доказывая, почему сочинение Токвиля полезно. Я же от себя добавлял, что он нас подводит и что его трудно сейчас заменить. Он в своем письме подробно объяснил, почему доводы Виноградова его не убедили; но так как подводить он нас не хотел, то перевод он все-таки кончит. Но, не желая быть прикосновенным к сомнительному делу, он отказывался от получения какой бы то ни было награды за труд.

Если события 1887 года только поверхностно затронули русскую жизнь, то в моем личном развитии они провели неизгладимую грань. Они впервые познакомили меня с той средой, которую я раньше не знал и от которой меня охраняли; и не только с ней познакомили, но, по курьезному недоразумению, я в ней сразу был признан своим и мог в самом центре ее наблюдать. Это сближение с другими людьми мне прежде всего самому себе показало, насколько, несмотря на мои аттестаты и успехи в науках, я был отсталым. Однажды для решения какого-то несогласия спросили моего мнения, считаю ли я Лассалья «теоретиком» или «практиком»? Мне было стыдно признаться, что я почти не знал, кто такой и что такое Лассаль. Чтобы себя не осрамить, мне пришлось поневоле

С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре.

А в другой раз речь зашла о желательности чем-то отметить дату 19 февраля, а я не сразу сообразил, чем она замечательна. Не говорю уже о книгах и журнальных статьях, на которых другие воспитывались и которых я не читал и не знал. Эти пробелы было не трудно пополнить. Помню это счастливое время, когда, по советам и указаниям новых старших друзей, я знакомился с этой элементарной, но все еще модной литературой по политическим и историческим вопросам и не переставая досадовал, сколько было в гимназии потеряно зря драгоценного времени. Но книги, беседы, споры, на которых я часто присутствовал, быстро поставили меня в курс этих вопросов.

Гораздо важнее было другое. Мало было оказаться «в курсе» вопросов. Надо было выбирать и решать. Та новая среда, в которую тогда я вошел, уже давно для себя решала вопросы, которых я себе до сих пор и не ставил, размышляла об «общем благе», о несправедливом устройстве современного общества, о своей вине перед теми, кто в нем был обижен. На наше недавнее прошлое многие из нее смотрели не теми глазами, что в моем прежнем кругу. Реформы 60-х годов им не казались драгоценным растением, которое нужно только беречь и выращивать. Даже в самую творческую, героическую эпоху самодержавия многие считали эти реформы слишком трусливыми. Не так ли судил даже Герцен в своей полемике против Чичерина? В позднейшее время пошли еще дальше. Ю. Мартов акт 19 февраля 1861 года называл уже «великим грабежом крестьянской земли для помещика» (*Мартов*

¹³ «Старый порядок» (фр.).

Ю. Записки социал-демократа. Ч. I. С. 331). На почве подобного понимания событий этого времени выросло не только сопротивление продолжению и «увенчанию» Великих Реформ (Лорис-Меликов для революционеров был предметом сначала осмеяния, а потом покушения), но народилась и та роковая идея «цареубийства», которую с самопожертвованием и героизмом стали осуществлять фанатики-народовольцы. Подобная тактика исходила из веры, что свержение привычной исторической власти вызовет народную Революцию, которая сумеет сразу построить новый и лучший социальный и политический строй. Я сам видел близких к народовольцам людей, которые думали, будто только случайность, арест Желябова и А. Михайлова, помешали в марте 1881 года Великой Революции разразиться тогда же. От таких надежд приходилось теперь отказаться. Для «Революции» русский народ оказался ни материально, ни духовно не готовым. Своей деятельностью и особенно своим успехом народовольцы в нем подготовили только «реакцию». Самая мысль после 1861 года сразу поднять весь народ против «Царя» показала непонимание его психологии. Организация народовольцев, без поддержки в народе, была легко раздавлена простой «полицейской» техникой. Из этого теперь приходилось делать выводы и искать для борьбы с «побеждавшей» реакцией новых путей. Одни, наследники деятелей 60-х годов, по-прежнему верили в возможность «сберечь и развивать» начала того нового строя, которые были даны в 60-е годы и были постепенно усвоены жизнью. Сюда относились и судебные учреждения, и земские установления; они могли укреплять в России «законность», защищать «права человека», развивать и распространять просвещение, подымать народное благосостояние. Делать это стало, конечно, гораздо труднее теперь, чем тогда, когда за этим стояло и сочувствие, и содействие власти; но добиваться этого, и особенно отстаивать то, что уже было дано, защищать его от «разрушения» все же оставалось возможным. Это делали и судебные деятели, борясь законными средствами против нового, внушаемого им сверху в судах направления, и земцы в борьбе с губернаторами, и либеральные профессора при новом уставе; это особенно делала легальная пресса, поскольку ей это было возможно.

Но как раньше, так и в это время были и более нетерпеливые люди, которые не могли удовлетвориться подобною осторожной тактикой и хотели добиться «сразу», «всего». Они были по взглядам и по темпераменту наследниками народовольцев, но все-таки уже научились из жизни, что прежняя тактика, кроме разгрома, ни к чему не приводит. Надо было поэтому сначала создавать себе поддержку и опору в народе, в наиболее многочисленных и обиженных классах его.

Народу, который остался равнодушным к борьбе за Учредительное собрание против самодержавия, нужно было указывать на других более понятных, доступных ему и близких «врагов». Среди революционеров по этому вопросу мнения расходились: одни видели подходящие революционные элементы в крестьянстве, которое можно было поднимать на помещиков из-за его жажды к земле, другие среди промышленных рабочих, которых угнетали хозяева предприятий и на которых держался весь капиталистический строй. Отсюда вышли две главные революционные партии. Царя, еще не утратившего обаяния «Освободителя», можно было в глазах народа превращать в пристрастного защитника «помещиков» и «фабрикантов» и тем его авторитет подрывать. Но такой план должен был быть рассчитан надолго. Пока же нужно было не «действовать», а только накапливать силы. Вместо «штурма», вести подкопную борьбу в исключительно трудных условиях для наступающих; надо было быть осторожным, скрываться, чтобы преждевременно не обнаружить себя; те, кто занимался подобной работой среди крестьянства или среди рабочего мира, естественно, не могли своего серьезного дела компрометировать ради участия в интеллигентских студенческих демонстрациях, как могли делать те, кто «политикой» не занимался. Этим, может быть, объясняется тот аполитичный характер студенческих беспорядков этого года, который успокоил и обрадовал власть. Это не означало, что сами студенты были довольны общим

политическим положением; но на них отражался упадок этого времени. Убежденные люди, способные собою для общего дела пожертвовать, принуждены были пока скрываться в подполье и только там вести свою работу. Их время еще не настало.

Но можно ли по человечеству удивляться, что, ведя с большой опасностью для себя такую работу, они с недовольством и недоверием смотрели на либеральных, легальных деятелей, упрекали их за умеренность, постепенность, готовность к компромиссам с врагом, подозревали их в способности изменить и предать? В этом относительно многих была не только вопиющая несправедливость, но и услуга, которую революционеры этим оказывали общим врагам, то есть настоящей реакции.

С этими настроениями я стал встречаться тогда, и надо было среди них выбирать. Всем своим прошлым, вероятно, и темпераментом я был связан с людьми либерального направления. Но мне приходилось тогда встречаться и с их идейными критиками, людьми, преданными революционному делу. Из мемуарной литературы об этой эпохе (Чернов и Мартов) я увидел потом, как много из них были тогда хорошо со мною знакомы. Но в свою политическую работу они меня не посвящали; я был не их лагеря. Говорить об этом чужим могли только «болтуны или провокаторы». Эти категории были друг на друга похожи; только провокаторы были искуснее. Мне запомнился такой эпизод. Один из подобных пропагандистов вздумал меня или переводить в свою «веру», или просто зондировать; и он завел со мной разговор, что я мог бы быть полезен России (лесть никогда не мешает), а в разговоре заявил не допускающим возражений тоном: «Ведь вы, конечно, социалист?» Меня задело это претенциозное «конечно»; я ответил, что многое в экономической доктрине социализма я признаю. Он внушительно пояснил, что социализм не экономическая доктрина, а политическое учение и даже система морали. Маркс в «Капитале» на все дал ответ. Этим суждением он мне интереса к себе не внушил. Чтобы от него отвязаться, я ответил, что я не социалист, а держусь взглядов Л. Толстого. Он тогда с разочарованием меня оставил в покое; но так как в этой отговорке маленькая доля правды была, то о ней я должен здесь сказать несколько слов.

Конечно, название «толстовца», которым злоупотребляли тогда, часто было не вполне заслужено. Когда я позже самого Толстого узнал, я понял, почему этих «хороших людей», которые думали, что идут вместе с ним, он сам не считал своими единомышленниками. У него и у них отправные точки были различны. Многие не поняли тогда, какую революцию во взглядах мира приносил с собой Толстой, когда вслед за Христом стал отрицать ценность того, что люди считали за благо, чем дорожили, из-за чего боролись между собой. Завет Христа богатому юноше – раздать свое имение нищим – решал его личный, а вовсе не социальный вопрос. Только на личный вопрос Христос и ответил богатому юноше. Те же, кого называли толстовцами, шли другою, мирскою дорогой. Они старались построить лучшее общество, где можно было справедливее пользоваться тем, что люди признавали за благо и отказываться от чего они не хотели. Это другой подход к делу, который приближал их к «политикам» и позволял сравнивать толстовцев с ними, а не с Толстым.

Личное знакомство с толстовцами у меня вышло случайно. Моя старшая сестра, которая училась в классической гимназии С.Н. Фишер, не раз рассказывала дома про их преподавателя Новоселова, как прекрасного учителя и человека. Он сам был сыном директора 6-й Московской гимназии; увлекся Толстым, бросил учительство и куда-то исчез из гимназии. Еще до беспорядков, на естественном факультете, со мной слушал лекции незнакомец в штатском платье, которого мы считали обыкновенным вольнослушателем. Очутившись однажды рядом со мной на скамье, он сказал, что знает мою сестру, и назвал свою фамилию. Это и был Новоселов. Мы разговорились. Многими своими суждениями он показался мне интересен; я стал к нему заходить, и он постепенно мне излагал свои взгляды.

После несовершенства «государства» он обличал больше всего «революционные партии». Они ставят себе правильный идеал, какого желают не только все люди, но и самые

государства, то есть идеал «справедливого общества». Но осуществить такой идеал государства хотят властью, то есть насилием, которое само есть отрицание справедливого отношения к человеку; ведь насилия над собой не желает никто. Мы видим, что из-за этого вышло из «государства». Революционные партии хотят идти той же дорогой: захватить в свои руки государственную власть. Их и ждет та же судьба. Одно из двух, любил говорить Новоселов, либо понятие «справедливости», то есть завет не делать другим того, чего не хочешь себе, свойственно людям, и тогда они сами свою жизнь построят на этом, либо оно им не свойственно, у всех мораль готтентотов, и тогда с таким людским материалом для построения справедливого общества нет другого средства, кроме насилия, что непременно ведет к «шигалевщине». Это исход, но при нем нельзя говорить ни о «свободе», ни о «справедливости». Вместо захвата государственной власти, то есть простой перемены «насильника», надо людям на практике показать «общество», где живут по справедливости и без насилия. Если люди увидят подобное общество, они по этой дороге пойдут; как при переправе через опасную реку все последуют за тем, кто укажет им брод. Не пойдут за этим только ненормальные люди, которых из человеколюбия другие будут лечить, а не карать и не искоренять. Новоселов для этого дела собирался устроить колонию; он приобрел землю в Тверской губернии, Вышневолоцкого уезда, на берегу прекрасного озера. На этой земле и должна была жить пробная колония единомышленников; при земле был сосновый лес, который он подарил крестьянам соседней деревни. Колонии пока еще не было, но Новоселов так увлек меня своей преданностью этой идее, что я принял его приглашение поехать к нему, пока там он один, и провести с ним несколько времени. И поехал я не один, а с нашим общим другом и товарищем по естественному факультету, сыном профессора органической химии Марковниковым, который позднее стал моим коллегой по 3-й Государственной думе. Мы там прожили около месяца. Временно, пока колонии еще не было, были у Новоселова двое «рабочих»: старик сторож с женой, которая была кухаркой. Они жили в особом строении-кухне, куда мы трое ходили обедать, за общим с ними столом, и ели все из одной общей чашки. Сами же жили в главном доме, обходились без всякой прислуги, спали на полу, на сене. Кроме того, исполняли полевые работы изредка с помощью сторожа или даже наемных рабочих. Довели свои личные потребности до возможного минимума, даже не пили чаю; я в это лето бросил курить. Мне и тогда было ясно, что в современных условиях жизни и техники, при разделении труда, жить исключительно своим трудом невозможно. Для этого надо бы уехать на необитаемый остров. Но у Новоселова оставались в резерве другие доводы за колонию. Правильность и жизненность поставленной цели он измерял качеством действий, которые она требовала от человека, удовлетворением, которое эта деятельность давала ему.

– Посмотри, – говаривал он, – мы исполняем трудную работу, но нам радостно понимать, что она нужна и полезна; мы ведь видим ее результаты немедленно: скосили луг, убрали сено, вспахали и засеяли пашню и т. д. Это всем ясно. И явная польза от этой работы мирит нас с трудом и усталостью. Ну а в чем проходит работа революционных политических партий? На что уходит их время? Печатать прокламации, распространять запрещенную литературу, натравливать одних на других, прятаться от полиции, лгать на допросах... День проходит за днем в этих унижающих достоинство человека занятиях, а осязательных результатов от этой деятельности не видит никто... Они далеко впереди, да еще и очень сомнительны.

Зимой, когда уже образовалась колония, я еще раз ненадолго приехал туда. Кроме Новоселова, были там Ф.А. Козлов, доктор Рахманов, А.В. Алехин, скромный лаборант химической лаборатории, всегда покорно и молча работавший в ней, вдруг как бы сразу понявший, что все это дело – «не то», бросивший лабораторию и поступивший в колонию. Он был младшим братом известного общественного деятеля Аркадия Алехина, бывшего, кажется, курским или воронежским городским головой. Когда в 1906 году шла избирательная кампания в 1-ю Думу и я ездил по России агитировать за кадетскую партию, я там встре-

тился с ним. В колонии были еще две подруги, окончившие Высшие женские курсы, В. Павлова и М. Черняева. Ее брат стал позднее моим лучшим другом. Но это другая эпоха, и о нем я скажу несколько слов в другом месте. Самым глубоким человеком в этой колонии был ФА. Козлов, задумчивый и молчаливый, напоминавший если не лицом, то головою Сократа; у него была своя собственная теория. Никакого справедливого общества, думал он, не может существовать, пока люди не будут иметь добрых чувств друг к другу. Поэтому нужно думать только о том, как эти чувства в людях воспитывать и развивать. Все остальное приложится. А добрые чувства слагаются из сострадания к чужому несчастью, естественного желания ему помогать, как естественен порыв поднять упавшего на улице человека, и из гораздо более сложного и трудного чувства сорадования, то есть радости от чужого счастья, противоположного более естественной «зависти». Потому и должно начать с того, что легче, то есть в себе развивать сострадание. Для этого нужно жить в той среде, где люди страдают не от случайностей вроде болезней, не от капризов и требовательности, а от несправедливости мира, который их заставляет делать то, что им лично не нужно, но для пользы других. В этих условиях живет наше крестьянство, труд которого кормит Россию; эти условия и воспитали в крестьянстве подлинные христианские чувства. Те, кого мы тогда в общежитии называли толстовцами, были часто совсем не схожи друг с другом. Общее у всех было одно. Преобладание у всех моральной точки зрения, которая определяла их вкусы, взгляды и жизнь. Из-за этого к ним причисляли Л.Н. Мореса, который в это время, как и я, приехал в колонию их навестить, не состоя ее членом. Толстовцы с ним очень дружили, как со своим человеком; но у него не было ничего общего с ними, кроме повышенного «морального чувства». Он был типичный интеллигент, кабинетный ученый, по наружному виду и образу жизни аскет, с лицом отшельника или подвижника, смотревший на всех через очки серьезными, грустными глазами. Он казался всегда несчастным, полуголодным и утомленным. Моя сестра Ольга, в 1904 году умершая сестрой милосердия на Японской войне, имела в жизни непреодолимую слабость ко всем несчастным. Увидев раз у меня Мореса, она была так потрясена его видом, что не могла успокоиться; при выдающихся литературных способностях, она была до неправдоподобия непонятлива к математике. Чтобы Моресу помочь, она добилась, что он был приглашен давать ей уроки по математике; но и он принужден был по явной бесполезности от них отказаться. Сам Морес в убогих номерах Семенова на Сретенской улице был занят писанием какого-то сочинения, которое должно было для него разрешить все вопросы о жизни. Его лозунгом было *naturam sequi*,¹⁴ так как он был уверен, что природа людей хороша и на ней все можно построить. Он плохо владел языками и иногда прибегал к моей помощи, чтобы я рассказывал ему содержание того, что он сам не мог прочесть. Из этих пересказов я знаю, что он серьезно занимался теорией Мальтуса и изучал тех ученых, которые пытались его опровергать. Я переводил для него книжку Каутского «*Der Einfluss der Volksvermehrung auf den Fortschritt der Gesellschaft*».¹⁵ Другой раз я должен был достать «*Revue Socialists*»,¹⁶ где была статья, направленная за или против (теперь не помню) примечаний Чернышевского к «Миллю»; мне это памятно, так как я не забыл подозрительного удивления в книжных магазинах, когда я студентом спрашивал там «*Revue Socialists*». Наконец кто-то мне объяснил, что единственный человек, у которого этот журнал можно было найти, был В.И. Танеев, старший брат известного музыканта, бывший раньше присяжным поверенным, а теперь живший на покое, в своем доме в Обуховом переулке или имении Демьяново около Клина. Танеев эту книгу мне дал, но не на руки, а чтобы я читал у него. Это было началом личного моего с ним знакомства; с отцом он был знаком уже раньше. Потом

¹⁴ Следовать за природой (лат.).

¹⁵ «Влияние размножения населения на прогресс общества» (нем.).

¹⁶ «Социалистический вестник» (фр.).

он предложил мне составить каталог для части его библиотеки, исключительной по ценности и интересу. Но не буду больше о нем говорить, хотя это очень заметная и оригинальная фигура старой Москвы; всего не перескажешь. Да и Танеев был «уникум», ни на кого не похожим. Его старший сын женился на моей второй сестре и погиб во время отступления белых войск через Сибирь на Восток.

Но возвращаюсь к самой колонии. Я прожил в ней очень недолго и вернулся в Москву «очарованный». Иллюзии, будто они дали пример, за которым весь мир постепенно следует, у меня не было, но я видел, что то, чего жаждали эти люди, то есть найти такой образ жизни, который удовлетворял бы их «совесть», ими был действительно найден. Они все были счастливы этим. Тогда была зима, свобода от страдных сельских работ, но труда по домашнему хозяйству хватало на всех. Были заняты все, ничем не гнушаясь. Бывшие «курсистки» готовили пищу, стирали наше белье, шили и штопали. Доктора и ученые чистили выгребные ямы. Сам тщедушный Морес что-то мастерил, хотя и я, и он, как гости, были на особом положении. Все это делалось с радостью и убеждением, что за то зло, которое господствует в мире, они более не «ответственны»; то, что лично они могли сделать, чтобы в нем не участвовать, они теперь сделали. Все это было предметом горячих бесед, которые велись в колонии вечером. Была общая атмосфера какого-то всеобъемлющего «медового месяца» наступившего счастья. И это было не только мое мимолетное впечатление. Оно подверглось своеобразной проверке. Узнав от меня о колонии, моя мачеха была не прочь посмотреть ее своими глазами. Случай представился; ближайшим летом она гостила у знакомых в Тверской губернии, недалеко от колонии. Она и решилась без приглашения и предупреждения поехать туда вместе с вдовой композитора Серова, известной тогда общественной деятельницей, и Л.Е. Воронцовой, большим другом мачехи, которая тогда была очень «лево» настроена. Они там пробыли не более суток, но, по словам мачехи, были покорены тем, что увидели. Мачеха повторяла, что увидела там тургеневское «Лазурное царство».

Такой подход к колонии был чужд для меня, но все же сходилась с моим впечатлением. Когда я зимой из колонии вернулся в Москву, я написал Новоселову, – напомнил ему наши прежние разговоры и признавал, что он и его друзья для себя настоящую дорогу нашли; на их лицах было написано, что они победили. В ответ я получил от Новоселова такое восторженное письмо, что себя спрашивал, не написал ли я чего-нибудь лишнего? Он как будто ждал моего «немедленного» вступления к ним. Потом мне говорила М.В. Черняева, что, прочтя мое письмо, он немедленно, сгоряча, написал мне этот ответ. Но когда он мое письмо им прочел, они не нашли в нем того, что он «вычитал». Новоселов был вообще «энтузиаст». Приблизительно через несколько месяцев после этого он прислал мне другое письмо. В одной из подобных колоний, кажется в Смоленской губернии, полиция сделала обыск и увезла с собой много бумаг. В этом ничего особенного, ни тем более радостного не было. Это была очень обычная «реакция» власти на то, чего она понять не могла. Но Новоселов был в полном восторге: «Начинается». «Власть поняла, откуда ей грозит настоящая опасность. Эти маленькие искры соединятся скоро в общий костер и т. д.».

Конец Новоселовской колонии был очень трагичен, но пришел не оттуда, откуда его ожидали. Он показал, что, как ни старались толстовцы развивать в себе и в людях добрые чувства, это не всегда удается. Иллюзии колонистов были разбиты действительностью. Через немного времени, я уже не помню точно, когда именно, окружающая колонию крестьянская среда сделала из ее существования совсем не те выводы, на которые рассчитывали члены колонии. Узнав, что соседние «господа» очень добрые и даже советуют «злу не противиться», двое из соседней деревни пришли и для «пробы» увели лошадь только на том основании, что она самим им нужна. В колонии велись переговоры: как на этот факт реагировать? Можно ли обратиться к властям? Было, конечно, решено на этот путь не вступать, но послать одного из своих, чтобы усювестить крестьян и отдать похитителей на суд самой

деревни. На другой день к ним пришла вся деревня; колония торжествовала, думая, что в них совесть заговорила. Но они ошиблись: крестьяне пришли взять и унести с собой все, что у них еще оставалось. Я там сам не был, а о подробностях они не любили рассказывать, но после этого оставаться в колонии никто не хотел; все оттуда уехали, а имение было куплено кем-то в личную собственность. Сам Новоселов скоро принял «священство», стал миссионером и в последний перед революцией год в специальной духовной печати обличал Распутина.

О дальнейшей судьбе остальных я не знаю. Иногда встречал Мореса; он был все тем же скромным аскетом, жил впроголодь, погруженный в мысли и книги, никому не завидуя, ничего для себя не добиваясь. Однажды, узнав, что он читает доклад в Юридическом обществе, я туда пошел; он читал статистическое исследование под заглавием «Питание народных масс». Я узнал на этом собрании, что он уже много докладов читал, стал авторитетным статистиком и пользовался большим уважением. Потом он уехал куда-то на юг; доходили слухи, что он там где-то «профессорствовал», но ничего больше о нем не слышал.

Толстовство прошло без влияния на строй русского общества; толстовцы были хорошие, но все-таки единичные люди. Они задавались недостижимой целью – сочетать мир и культуру с учением Христа, то есть повторяли то, что сделал весь мир, когда стал считать и называть себя «христианским». Этим он улучшил мирские порядки, но Христа «искажил». То же было с толстовцами направления Новоселова. Поэтому их попытки забыли, зато не забыли и не забудут самого Толстого, который хотел «воскресить» перед людьми настоящего Христа, освободить его от внесенных в его учение мирских компромиссов.

Судьба мне позволила издали видеть попытку этих толстовцев и наблюдать, как жизнь оказалась сильнее; но в годы исканий настоящей дороги они были ценны моральными требованиями к отдельному человеку и к целому обществу; люди вообще были склонны пренебрегать указаниями собственной совести, то есть тем добром, которое заложено в душе каждого человека, пренебрегать указаниями совести во имя «общего блага», а потом даже просто во имя «воли народа», то есть на деле той части его, которая «многочисленнее» или просто «организованнее» в данный момент.

Когда на «аморальность» революционеров указывали сторонники государства, которое само требовало для своих врагов смертной казни, такой их довод не убеждал. Но когда призыв к достоинству и неприкосновенности человеческой личности исходил от толстовцев, он и окаменелых людей мог если не покорять, то «смущать». Это я увидел на процессе толстовцев, которые во время войны, в разгар патриотического подъема в России, решились выступить против войны, не на помощь врагам, а во имя Христова учения. Даже военных судей они поколебали, ибо не были похожи на современных проповедников мира. Пусть были наивны настроения Козлова, который, чтобы «улучшить душу» людей, отыскивал среду, где «страдают»; но он все-таки хотел развивать в человеке те его лучшие свойства, которые отличают его от зверей. Революционеры же, начиная с Ткачева и кончая Лениным, ценили в политических деятелях то, что в них было звериного, а сострадание, жалость и человечность презирали и вместе со своими политическими врагами считали, по знаменитому выражению Н.Е. Маркова в Государственной думе, «слюнявой гуманностью».

В двадцать лет, то есть в критический человеческий возраст среди русской общественности, с кем было мне по пути? Мои симпатии были с теми представителями Великих Реформ, которые хотели продолжать улучшать государство на началах законности, свободы и справедливости, и для этого исходить из того, что уже существует реально, то есть и как отдельная «личность» с ее природными свойствами, и как уже создавшееся раньше нас «государство». Они были теми «данными», которые нужно было улучшать, не разрушая, стараясь сочетать «идеал» и «действительность». Этой трудной, но не безнадежной задаче и служили «либеральные деятели». Но что было делать студенту, если не удовлетвориться

совета́ми министра Делянова, которые он при своем посещении Московского университета дал студенчеству, говоря, что их дело «учиться, учиться и только учиться»? У студентов, вопреки этим словам, было все-таки свое, доступное и их воздействию зло, с которым им самим можно было сейчас же бороться. Этим злом было правило, будто студенты «только отдельные посетители Университета» и запрет им всяких действий, носящих коллективный характер. Жизнь и раньше проходила мимо таких запрещений, особенно после встряски 1887 года. Но борьба с ним происходила если не прямо в подполье, то и не открыто, не по «праву», то есть «легально».

Здесь виделся какой-то исход. В этом русле и пыталась пойти в это время моя студенческая работа. Она, по необходимости, была очень скромной и мелкой.

В Университете, несмотря на велеречивые запреты, все-таки существовали землячества, то есть объединения уроженцев одного города, часто гимназии; связь между ними в чужом городе была слишком естественна, и не допустить ее было нельзя. Эти землячества носили самый разнообразный характер, в зависимости от их состава и условий жизни. У меня, как москвича, своего землячества не было, но потребность организованного общения была так велика, что я немедленно поступил в два чужие землячества, куда меня допустили – Нижегородское и позднее Сибирское. И мои старания завершены были тем, что я с несколькими москвичами (тут я встретил наконец товарища из гимназии Положенцева) создал Московское землячество. Приходилось преодолевать для этого косность многих москвичей, которые не понимали, зачем это нужно, но дело было все-таки сделано. И Московское землячество вышло наиболее многочисленным. На первом учредительном собрании нашем Положенцев – и именно с его стороны это было мне лестно – предложил выразить мне благодарность, как его инициатору.

Оживление земляческой жизни, объединение их между собой и создание Московского землячества – были только одним из шагов к организации студенчества как целого, а не как «отдельных посетителей Университетского здания». Затем пошла речь об «объединении» этих землячеств, для общих для них всех целей. Позднее в них самих началась борьба за их самоценность, за независимость от политических направлений. Но первый шаг был уже сделан.

Другая дорога, по которой мы пошли к той же цели, была тоже не выдумана, а существовала давно, и мы только ее расширили и углубили. На медицинском факультете давно существовал институт курсовых «старост», избираемых самими студентами. Они не были запрещены, так как были полезны для самих профессоров, чтобы помогать им разделять студентов на группы, для практических занятий в клиниках и лабораториях. Мы задумали этот частный «институт» сделать всеобщим, распространить на все факультеты и курсы. При неорганизованности студентов не было лиц, которые, по своему положению, должны были бы об этом подумать. Это была частная инициатива студентов, которые сблизились и решили действовать по пословице – кто палку взял, тот и капрал. Мы сначала на всех курсах отыскивали и привлекали сторонников этого плана, обдумали, как его курсам представить, чтобы их сразу не запугать. А потом, пользуясь облегчением, которое наступило в студенческой жизни после Брызгалова, проводили сначала «идею», а потом и самые выборы; сделать это было не трудно. Те, кто давали и защищали эту идею на курсе, и были обыкновенно выбраны старостами. Так случилось со мной. Этот институт вводился, по тогдашнему выражению, «явочным порядком». Разрешения, конечно, не спрашивали, да оно и не было нужно. Профессора к нему относились сочувственно. Курсовые старосты стали потом намечать общего, уже факультетского старосту, с которым держали постоянную связь. Представители же всех четырех факультетов создали таким образом «студенческий центр». Функции всех этих выборных лиц были только передаточные; через них устанавливалась связь между курсами, и студенчество сделалось организованным. Никакого решения они принимать не

могли. Зато в сфере взаимного осведомления этот аппарат был очень полезен и бесконечно удобнее, чем землячества. Через старост все курсы по аудиториям могли быть сразу извещены обо всем, что надо было срочно им сообщить. Отчасти в шутку, но частью и всерьез мы называли их громкой кличкой «боевая организация». Так, при том же уставе, фактически уже изменялись условия студенческой жизни действиями самой студенческой среды. На эти мелочи и ушли мои первые два года пребывания в Университете.

Глава 4

В 1889 году отец поехал в Париж на Всемирную выставку и меня взял с собой. Для двадцатилетнего юноши такая поездка всегда соблазнительна; но я не предвидел, как много в моей жизни она будет значить.

Не раз позже, обмениваясь со знакомыми воспоминаниями о пережитом и припоминая, какую минуту каждый из нас считает в своей жизни счастливейшей, я всегда отвечал, что этой минутой был месяц, который я тогда прожил в Париже. И при этом в нее не входило ничего из тех развлечений, за которыми обыкновенно ездят в Париж. На них у меня не было тогда ни охоты, ни времени. Я жил среди других впечатлений.

В то время ехать за границу студенту было не просто. Даже чтобы ехать с отцом несовершеннолетнему, нужно было представить свидетельство врача о болезни, притом утвержденное губернским правлением. Знакомый врач его дал, и губернское правление утвердило, конечно, даже на него не взглянув. Это была просто условная ложь, которая требовалась, например, для выдачи адвокату доверенности на ведение бракоразводного дела. Этим хотели затруднять совершение разводов; та же цель, вероятно, преследовалась и для заграничных поездок.

Это не было умной политикой для этого времени. Для советской власти это естественно: без «железного занавеса» ей было бы нельзя уверять, что в России «счастливая жизнь», а демократии «умирают». Но в 80-х годах наша власть сама признавала Европу своим «культурным» учителем. Было полезно поэтому ее молодым русским показывать.

К тому же на выставке были новинки: ее гвоздь, Эйфелева башня, производила потрясающее впечатление. Она напоминала своей громадой вечные пирамиды Египта. Эстетики находили, что она некрасива; она и не претендовала на это. Но в ее стройной громадности было нечто ошеломляющее. Потом к ней привыкли, как к аэропланам. Но тогда, впервые поднимаясь на башню по одной из четырех ее ног, невозможно было себя заставить поверить, что эта громада только одно из четырех широко расставленных подножий ее. А когда потом узнавали, что все составные части этого колосса изготовлялись по чертежам, на разных заводах, друг от друга отдельно, и что когда все было готово, все части сошлись точка в точку, сложились в один монолит, то в этом было торжество не только техники, но и современной организации. Таким достижением можно было гордиться. В это время был открыт памятник в честь погибших воинов во время Франко-прусской войны. На торжественном открытии его, где я присутствовал, министр Спюллер проводил параллель между Империей и Республикой и заключал, указывая рукою на памятник: «Voilà l'oeuvre de la Empire»,¹⁷ а затем на башню: «Et voilà l'oeuvre de la République».¹⁸ И эта циклопическая башня была создана не так, как строили пирамиды, не деспотизмом фараонов и рабским трудом, а Республикой при режиме свободы.

Боялись ли показывать нам «свободный режим»? Конечно, он производил впечатление своей неожиданностью. Я помню, что в первые дни моего здесь пребывания, когда на улицах продавцы газет и воззваний выкрикивали «политические» лозунги, совали всем в руки листки, я, по русской осторожности, сначала опасался их хранить у себя. Такою же неожиданностью для нас была и свобода печати, расклейка бесцензурных афиш, митинги и речи на улицах. Нас учили в России, что так не может существовать государство, что оно держится общим повиновением власти. Конечно, нельзя забывать ее заслуг в создании России как государства. Но это издавна оплачивалось неограниченным подчинением ей чело-

¹⁷ Вот что было сделано Империей (фр.).

¹⁸ А это сделано Республикой (фр.).

века. Даже когда Петр Великий повел Россию по европейской дороге, просвещенный абсолютизм у нас не ослабел, а усилился. Он составил надолго особенность старой России. Это высказывалось у многих в России их принципиально враждебным отношением к государственной власти. Было полезно увидеть в Европе, что нажим государственной власти на человека вовсе не атрибут сильного государства, что право государства может сочетаться с правами самого человека, что при режиме «свободы» Третья республика после разгрома Франции 1870 года не только ее сохранила, но сделала богатой и сильной империей; было поучительно наблюдать своими глазами, что во Франции люди дорожили не только своей личной свободой, но и строем своего государства и это в нужные минуты умели показывать. Это и обнаружили выборы 1889 года.

Первое время в Париже моим гидом в нем был мой отец; мы целые дни проводили на выставке, а вечера в театрах. Он знакомил меня и со своими друзьями. Я тогда часто не знал, какую роль они играли во Франции. Так, помню обед у Шарко. Там был его сын, молодой человек, хотя и много старше меня, стройный, худощавый брюнет; из него получился потом знаменитый исследователь полярных стран на своем судне «*Pourquoi pas?*».¹⁹ Шарко-старик говорил тогда о «политике»; был поклонником Жюль Ферри, которого, по его словам, не любили в Париже лишь потому, что «*il a le nez de travers*».²⁰ Возмущался «буланжистами» и уверял, что если бы правительство не приняло мер в день отъезда Буланже из Парижа в Клермон-Ферран на место его назначения, то «*nous aurions eu une émeute à Paris*».²¹

Еще памятнее, чем Шарко, для меня остался друг отца, окулист из Реймса – Делакруа. Он приезжал часто повидаться с отцом. Это было то время, когда я сам попал в другую среду французских студентов, которые всецело мною завладели. Да и мои личные вкусы с отцом расходились: я проводил много времени на политических митингах, на выставке в память Революции и вообще Францией восхищался, как свойственно двадцатилетнему возрасту. Помню, как Делакруа тогда надо мной за это подтрунивал и, как это ни странно, старался передать мне свое восхищение перед Россией. Он был большой русофил, хотя не знал русского языка и знал мало Россию; восхищение Россией было не только его личным свойством, но и особенностью этой эпохи, перед заключением Франко-русского союза. Но от этого симпатии к России были не менее искренни. Когда мы оба с отцом уже вернулись в Россию (хотя и в разное время), Делакруа написал ему любопытное письмо, которое я не забыл до этого времени. Он шутливо спрашивал про меня, продолжаю ли я по-прежнему восторгаться порядками Франции, но прибавил, что у него другая манера *rendre hommage à un pays*.²² Сейчас он упивается книгой русского ученого Мечникова «*Les grands fleuves historiques et la civilisation*».²³ Он писал, что он, скромный врач, *n'est pas de taille pour juger le savant*,²⁴ но что он покорен им, как стилистом и «поэтом». Перед глазами читателя величественно проходит и осмысливается вся мировая цивилизация. Я помню, что тогда в России нельзя было достать этой книги, но я ее после прочел и в моей жизни она прошла не бесследно.

Но возвращаюсь к впечатлениям от политической жизни Франции. Конечно, они были поневоле и поверхностны и односторонни. Всей жизни Франции я не мог охватить. Но за это именно время я мог видеть, как сами французы к своему режиму относились, ибо он был поставлен тогда на серьезное испытание. Им был «буланжизм».

¹⁹ «Почему бы нет?» (фр.)

²⁰ У него нос кривой (фр.).

²¹ В Париже было бы восстание (фр.).

²² Оказать стране уважение (фр.).

²³ «Великие исторические реки и цивилизации» (фр.). На самом деле книга Л. Мечникова называется «Цивилизация и великие исторические реки». (Примеч. ред.)

²⁴ Он не вправе судить об ученом (фр.).

В основе политических успехов этого генерала, кроме личной его популярности как генерала, лежало, очевидно, и законное недовольство многих слоев населения, желавших улучшить свое положение; недаром Буланже выдвигал радикал Клемансо, тогда еще «низвергатель всех министерств». Буланже был избранником не правых, а левых; только позднее он попытался объединять вокруг себя всех недовольных, не исключая принципиальных врагов самой Республики. Недовольство политикой Республики среди некоторых частей населения дало ему популярность сначала на депутатских выборах Севера, а потом завершилось блестящей победой его же в Париже. Тогда в качестве депутата Парижа он официально поднял вопрос о пересмотре конституционных законов. Он заявил себя врагом парламентаризма, как источника слабости Франции; он хотел, чтобы власть правительства была более независима от палаты. В этом, конечно, была доля правды, но большинства для этой реформы в палате он не получил. Его прежние покровители, как Клемансо, от него отреклись. Его сторонники, учитывая сочувствие к нему среди масс, толкали его на открытый переворот. Сделав его, он мог бы потом санкционировать его плебисцитом, как это было при Наполеоне III. На переворот Буланже не пошел и своих главных сторонников тем оттолкнул. А правительство возбудило следствие против руководителей этого плана, как заговорщиков против Республики. Буланже сделал вторую ошибку: не веря беспристрастию следствия, он тайно уехал из Франции в Бельгию, а потом в Англию. Это бегство его погубило: им он потерял большую долю своего обаяния. Спор между ним, как будто бы претендентом на личную власть, и Республикой и должны были решить выборы 1889 года. Были приняты меры, чтобы ослабить их плебисцитарный характер; избирательный закон был изменен. Воротились к системе *scrutin d'arrondissement*;²⁵ были запрещены *candidatures multiples*.²⁶ Это ослабляло значение для исхода выборов личной популярности кандидата, но выборы остались все-таки настоящими выборами. Ни о каких конкретных реформах или социальных вопросах на этих выборах не было речи. Все это отходило на задний план. Но зато вопрос был поставлен очень отчетливо: сохранить ли прежнюю Республику, введенную в 1875 году, предоставляя ей в установленном для этого порядке себя улучшать, или сделать «скачок в неизвестное» и изменение Конституции предоставить полномочной Конституанте, Учредительному собранию. Выборы должны были показать, какой путь предпочитает страна в лице ее избирателей: законность или волю популярного человека, в лице его теперешних сторонников.

Сама такая постановка вопроса была назидательна. Ведь полномочное, ничем не стесненное Учредительное собрание многие считают до настоящего времени наиболее полным проявлением народовластия, выражением того, что именуется волей народа. Но, с другой стороны, полномочное Учредительное собрание есть все-таки всегда «скачок в неизвестное», перерыв в преемственности государственной власти, пренебрежение тем, что создано и существует. Иногда это пренебрежение может быть не опасно, иногда даже нужно, как выход, но принятие такого способа создания нового строя есть осуждение того пути, которым страна шла до тех пор и который сама она считала законом для всех обязательным. Об этом и шел спор на избирательных собраниях этого года; мне удалось тогда близко и часто их наблюдать.

Сам Буланже был лишен тогда избирательных прав, не мог поэтому быть кандидатом, но от его имени и за него выступали его сторонники. Я ходил слушать и кандидатов, и тех профессиональных ораторов, которые ездили с собрания на собрание, чтобы поддерживать их. На этих собраниях я, между прочим, очень часто слушал Дерулера. Это был один из наиболее любимых и неутомимых ораторов. Такие словесные турниры мне казались блестящими, да часто и были блестящи; к тому же для меня это было тогда новое зрелище.

²⁵ Голосование по округам (фр.).

²⁶ Множественные кандидатуры (фр.).

Я мог, кроме того, наблюдать, как толпа слушателей на речи их реагировала, на что она в них откликалась. Моей затаенной мечтой в это время было услышать и непосредственный голос народа; наблюдатели Франции, как Тургенев в «казни Тропмана», не раз писали, с какой неотразимой силой этот голос звучит в исполняемой целой толпой Марсельезе. Моя мечта осуществилась. В округе, где я проживал (*le circonscription, 5-e arrondissement, l'ancienne circonscription de Louis Blanc*²⁷), как часто подчеркивали ораторы было три кандидата: Деломбр, по официальному названию партии – оппортунист; позже, будучи уже послом, я его встречал в Париже, как сотрудника «Тан»; Бурневиль, радикал, и знаменитый Накэ, буланжист. Было еще один или два кандидата «рабочих», но у них не было шансов пройти, и голосов у них было так мало, что на исход выборов они повлиять не могли.

Задача избирательной кампании в нашем округе была помешать Накэ получить при первом голосовании абсолютное большинство и тем поставить его на перебаллотировку. Его противники тогда бы соединились. Как общее правило, в этом году соперничавшие кандидаты не делали совместных собраний. Отдельные лица проникали на чужие собрания и там выступали против их устроителей. Так было и в день, о котором я говорю. Было собрание, назначенное Бурневилем; он сделал свой доклад; после него говорили другие. Но вдруг пришла весть, что Накэ во главе целой толпы буланжистов едет к нам. Сначала думали, что цель этого прихода только сорвать наше собрание; поднялись споры, что против этого делать; время проходило – и вдруг большая толпа буланжистов ворвалась в залу, внесла туда Накэ на руках и поставила его на трибуну. Отступать было нельзя. Председатель, после нескольких призывов к спокойствию, предоставил слово Накэ. Тот сказал очень корректную и хорошую речь. Напомнил свое прошлое, свою борьбу за Республику, сказал, что у республиканцев на различные вопросы могут быть разные взгляды, что он сторонник изменения Конституции Конституантой, а другие могут хотеть ее изменить другим путем и даже совсем не хотеть изменять. Обо всем этом можно спорить, но когда про него, Накэ, говорят, что он противник республики, то этой клевете они сами верить не могут; свою преданность республике он достаточно доказал своей жизнью – и кончил речь горячим призывом: «*Vive à jamais la République!*».²⁸ Буланжисты неистово хлопали; Бурневиль стал отвечать; еще раз отозвался о прошлом Накэ с похвалою, признал, что прежде был сам его другом, глубоко его уважал и любил, но затем кончил словами: «*Eh bien, citoyens, cet homme n'existe plus: demandez aux électeurs de Vosges, ce qu'ils en ont fait*».²⁹ Тут поднялся оглушительный рев; стали хвататься за палки и стулья. Предстояло побоище. Многие поспешили на улицу. Там уже стояла толпа, переругиваясь, угрожая друг другу. Ждали выхода тех, кто в зале остался, чтобы продолжать с ними свалку на улице. Но тут произошло нечто непредвиденное. Из залы вдруг донеслось пение Марсельезы, и все стали оттуда выходить, впереди шел Накэ с Бурневилем под руку и с громогласным пением Марсельезы. Вся толпа на улице вдруг за этим последовала, шапки полетели на воздух, все пели, аплодировали и обнимались. Марсельеза, республика – на минуту всех помирили.

Конечно, это «театральный» эффект; сцена могла быть даже подстроена. Но если вспомнить, что на этих именно выборах произошел разгром буланжизма, можно предполагать, что страна в общем была за ту республику, которая тогда существовала, что страна ее защитила не только против ее принципиальных врагов, но и против компрометирующих ее демагогов. И мне было небесполезно в свободной стране получить урок консерватизма, то есть бережного отношения к тому, что создалось исторически. Подобного отношения русская жизнь в нас не воспитала.

²⁷ 5-й избирательный округ, 1-й раздел его, который выбирал одного общего депутата, прежний округ Луи Блана (фр.).

²⁸ Да здравствует навеки республика! (фр.)

²⁹ Так вот, граждане, этого человека больше нет: спросите у избирателей, что они сделали с ним (фр.).

Следующий урок подобного рода, полученный мною во Франции, касался ее революции. В ней праздновалось ее столетие. В передовой России отношение ко всякой революции было своеобразное. Так как у нас тогда не существовало законных путей, чтобы влиять на ход государственной жизни, то противозаконный способ улучшать свое положение был среди мирного общества не только терпим, но и популярен. Слово «революционер» стало синонимом «борца за народ», как «военный» синонимом защитника государства против врагов. И как «военная каста» даже в мирное время свысока смотрела на «штатских», так «революционеры» смотрели свысока на «либералов» за то, что они допускали с «врагом» соглашения. Власть казалась врагом, с которым нельзя «договариваться». Сколько было споров о допустимости для «революционеров» участвовать в легальных журналах и этим нарушать революционную «непримиримость»! Перед 1889 годом, быть может даже во время моего пребывания в Париже, в русской эмиграции шли ожесточенные споры по поводу плана создать за границей либеральный орган печати. Эти споры до меня не дошли: к этим кругам у меня тогда доступа не было.

Столетие Французской революции, устраиваемые в честь ее торжества, реставрация зданий и мест, где революция происходила, выставка всего, что от нее уцелело, картины, газеты, рукописи и автографы – позволяли как бы переживать ее вновь. Историческое изучение ее к этому времени уже много подвинулось и заставляло пересмотреть слишком упрощенное к ней отношение: или огульное восхищение ею («La Révolution est un bloc»,³⁰ – утверждал Клемансо), или ослепленная «ненависть». К вековому ее юбилею наступило время беспристрастной оценки и ее «заслуг» и «вреда», который излишества ее причинили. В общее сознание стало входить то, чего прежде не знали, а главное – знать не хотели, что Великая Революция 1789 года была поначалу только «либеральным» движением и в результате привела к буржуазной Республике, что ее «завоевания» были заложены в старых порядках и могли быть постепенно проведены «законной властью», что Революцию предотвратило бы. Как сказал один французский писатель, «il n'y a qu'un moyen d'arrêter une révolution: c'est de la faire».³¹ Это историческое понимание Великой, а следовательно, и всех революций, я вывез из Франции. Моим героем этой эпохи стал поэтому Мирабо, не за его исключительный гений, но потому, что он хотел идти именно этим путем. Я с волнением рассматривал автографы его писем и речей, которые, по тогдашним обычаям и из-за отсутствия стенографии, ораторы сами писали. Потом уже в России мне подарили восемь томов Лука Монтиньи с биографией Мирабо и выдержками его речей, из которых многие я до сих пор помню. Вообще, к соблазну наших политических «ригористов», у меня образовался культ Мирабо. Я ценил в нем то, что если он толкал на реформы, то старался снабдить «власть» средствами помешать «разрушению» пойти слишком далеко; для этого отстаивал королевское «вето». Он недаром говорил про себя в речи «Sur le droit de la paix et de la guerre»: «Un homme qui ne croit pas que la sagesse soit dans les extrêmes ni que le courage de démolir ne doive jamais faire place à celui de reconstruire».³² Я не закрывал глаз на политические грехи Мирабо, на его тайные сношения с королем. Но если они личную славу его омрачили, то не опровергли правильности его политической линии. Таков был урок, который я из Франции тогда увозил.

Я указывал раньше, что в России не занимался «политикой»; у меня как студента не было для этого подходящей дороги. Моя «деятельность» поэтому не выходила за пределы студенческих интересов. Но поездка за границу дала мне возможность увидеть, как сами студенты живут в странах с свободным режимом и что они делают там. Я знал, что в Париже

³⁰ Революция – нераздельное целое (фр.).

³¹ Есть только один способ остановить революцию: это ее осуществить (фр.).

³² «О праве объявления войны или мира»: «Я – человек, который не думает, что мудрость заключается в крайностях и что отвага на разрушение не должна никогда уступать места смелости на созидание» (фр.).

много студентов, что у них какая-то особая жизнь: есть свой Латинский квартал и т. д. Я старался проникнуть в него, но по неопытности я все себе представлял по русскому образцу. Думал, что этот Латинский квартал напоминает московскую Козиху, а французское студенчество – тип наших русских студентов. В первые же дни приезда в Париж, применяясь к нашим обычаям, я искал студентов по наиболее дешевым столовым, рассчитывая их увидеть в бедном и поношенном платье. Я заговаривал с незнакомцами и удивлялся, что попадал все не на студентов. Меня выручил случай. Проходя по улице Школ, я увидел флаг и вывеску: «Association Gènèrate des étudiants de Paris».³³ Я тотчас пошел туда, сказал, что я русский студент, который прибыл в Париж и хотел бы познакомиться с их учреждением. Отворивший дверь студент радостно потряс мне руку и крикнул кому-то в соседнюю комнату: «Venez done id».³⁴ Так началось наше знакомство.

Это стало решающим моментом всей моей заграничной поездки. Я попал в среду, которая мной завладела. Благодаря гостеприимству моих новых товарищей я мог проникать всюду, куда я хотел; французские студенты сами были все избирателями; они мне доставали билеты, водили на собрания, знакомили с кандидатами и вообще с избирательной кухней. Я даже не оставался вовсе пассивным, прерывал ораторов и благодаря этому один раз чуть не попал на трибуну. Все «впечатленья бытия» тогда для меня были новы, и соблазн открытой политической жизни надолго меня отравил. Без близости с французскими студентами многое во Франции для меня бы осталось закрыто. Отец мой раньше меня вернулся в Россию. Я уговорил его меня оставить до выборов; студенты переманили меня в свой квартал, в какую-то гостиницу на улице Пантеон, и я с ними не расставался.

Студенческая среда в Париже в общем была мирной, буржуазной средой, которая сознательно ни Революции, ни авантюры не хотела. Все были против Буланже за Республику. Я на них мог увидеть, что та их «отсталость», за которую мы в России слишком охотно их упрекали, была часто признаком их политической зрелости. К тому же они в общем были образованнее русских студентов, которые больше воспитывались на журналистике и публицистике, чем на научных работах, и потому тяготели к «новым словам» и «крайним выводам». Я за это короткое время близко сошелся со многими, которых потом из виду совсем потерял. Когда я был уже послан, ко мне пришел один из моих тогдашних друзей Гонна, которого я не забыл, но и не узнал; он уже был пожилым коммерсантом, отцом семейства, и в нем ничего не осталось от прежнего стройного юноши. Мы вспоминали с ним общих товарищей этой эпохи, с которыми произошли подобные же метаморфозы. Я особенно интересовался судьбою одного, по фамилии Ревелэн, в котором тогда прочили будущего Гамбетту. Он ушел слишком влево, и Гонна с ним больше не виделся. Благодаря такому составу моих тогдашних руководителей мои впечатления во Франции были односторонни; обо многом я не подозревал. А к русской политической эмиграции, к нашим «властителям дум», у них, как и у меня, доступа не оказалось.

То, что всего больше меня интересовало тогда, благодаря чему я и сошелся со студенчеством, была жизнь Парижской ассоциации. Я был ею обворожен. Она так же мало походила на наши землячества, как Латинский квартал на Козиху. И было интересно, что эта ассоциация была создана самими студентами тогда, когда они уже пользовались всеми гражданскими и политическими правами и не были ни в чем ограничены. И все-таки под влиянием одного мелкого прискорбного события студенты почувствовали потребность в органе «самопомощи» и «самозащиты», и для этой цели свою ассоциацию создали. Ту же самую задачу ставили себе и наши землячества. Но в России участие в них было запрещено, и при поступлении в Университет в этом со всех брали подписку. Во Франции правительство

³³ Генеральная ассоциация студентов Парижа (фр.).

³⁴ Идите же сюда (фр.).

ассоциацию приветствовало и ей помогало. В приемной ассоциации висел большой портрет президента Республики Карно с собственноручной надписью: «*A mes jeunes amis – Camot*»,³⁵ подаренный им при посещении ассоциации.

В этом сопоставлении сказывалась разница политических режимов России и Франции и объяснялась борьба, которая в передовом русском обществе всегда велась против самой нашей государственной власти.

В Париже не время мне было думать о том, как в России целесообразнее было вести эту борьбу. Одно здесь бросалось в глаза: ограничение «самодетельности» человека и общества не должно было быть само по себе задачей государственной власти; во Франции власть им помогала. Так было и в России в эпоху Великих Реформ. Если теперь в России власть стала бороться с пережитком их, во имя «охраны самодержавия», то это было печальной ошибкой, а не исполнением ее назначения. Это ни для нее, ни для страны не было нужно. Поэтому можно было и теперь стремиться к возвращению власти на правильный путь, а не стараться свергнуть ее; это было линией «наименьшего сопротивления», по которой нужно было и в России идти. Не правы были толстовцы, которые из-за того, что в России государство изменило своему назначению и становилось для народа врагом, вовсе его отрицали и пробовали жить «без него». Для самой попытки толстовцев дать пример идеального общежития необходимо было благоприятное к этому отношение государства. Власть могла не разрушать сама жизни колонии, как она сделала в Смоленской губернии; это было, конечно, не нужно; но государство должно было законные права всех защищать и не допускать самовольного разгрома толпой колонии Новоселова. Эти элементарные мысли приходили мне в голову, когда я попал в благоустроенное государство нашей эпохи. Помню, что с верхушки Эйфелевой башни, на открытке, которую там продавали, я об этом написал Новоселову; по лаконичности моего письма об этом он, как мне потом говорили, недоумевал, что оно значит? Он не видел того, что я здесь переживал. Свободные режимы Европы показывали, чем должно быть здоровое государство и какая дорога приводит к нему. Пора было вступать на нее, где только возможно, и по этой дороге идти, не мечтая всего сразу достигнуть. Для роста всего живого есть свое положенное время. Раньше его вырастают только уроды. Вот сущность урока, который мне моя заграничная поездка дала.

И один из путей, чтобы так приняться за дело, мне тотчас там же представился. Студенческая ассоциация вообще мне показала, чего можно достигнуть, если вместо бестолкового «противодействия» со стороны государственной власти, которое всегда во всех общественных начинаниях происходило в России, студенты имели бы ее благожелательный нейтралитет и даже поддержку. Голос ассоциации был бы авторитетнее, чем голоса тех пяти депутатий, которые, каждая от себя, пришли к Менделееву.

В деятельности ассоциации, с которой я познакомился, я увидел идеал для наших землячеств, так как цели их всех были тождественны: «самопомощь» и «самозащита». Мои новые друзья знакомили меня с этой жизнью во всех деталях ее. Я был зачислен, как временный член ее – *membre passager*, получил особый билет и право входа во многие связанные с ней учреждения. Я на собственном опыте видел, что ассоциация давала студентам. Ясно, что кое-что за это приходилось платить. Существование ассоциации было бы невозможно, если бы студенты внутри нее занимались «политикой». Они могли бы тотчас между собой перессориться. Потому это запрещалось не только уставом самой ассоциации, но и желанием самих студентов. Студенты, которые были во всем полноправными гражданами, наряду с другими принимали участие в политической жизни страны, друг с другом боролись, которые могли вполне безнаказанно быть к правительству своему в оппозиции, из собственной ассоциации добровольно политику устранили. Политических споров в ней не допускал не

³⁵ «Моим молодым друзьям – Карно» (фр.).

только устав, но и нравы студенчества. Все эти уроки было полезно продумать. Устранение от «политики», которого в России от нас требовала власть, потому что видела в ней призрак будущей Революции, и за которое «старое поколение» нас осуждало, как за равнодушие к гражданскому долгу, в Парижской ассоциации оказывалось признаком «политической зрелости». Так легальная студенческая деятельность хорошо подготавливала самих студентов к европейским порядкам, а не к нашему русскому кипению «в действии пустом». В мои годы такие впечатления не забываются скоро.

Но я узнал в Париже нечто другое, еще более для меня неожиданное. Чуть ли не в первый день моего знакомства с ассоциацией мне сказали, что летом в Париже состоялся Международный студенческий съезд и что там были представлены все, кроме русских: меня упрекали, почему никто из нас не приехал? Даже на приглашение не ответили; ведь и вам было послано приглашение! «Но кому же вы адресовали его?» – «Как и всем остальным, вашему министру народного просвещения». Я удивлялся такому их непониманию условий нашей жизни в России. Рассказывал про отношения русских студентов с властями, про наши существующие, но только нелегальные землячества и т. д.

Это было столь же неожиданно и ново для них, как для меня их свободная жизнь. Этот вопрос их так заинтересовал, что я не только, по их просьбе, сделал доклад о русском студенчестве в самой ассоциации (на частном собрании), но и написал об этом статью для их «бюллетеня», из предосторожности подписав ее только буквами. В беседах по поводу этого доклада мне указали, что упущение со съездом еще можно поправить, так как предстояли празднества в Монпелье по случаю 600-летия тамошнего университета; к этому времени предполагался и новый Международный студенческий съезд. Почему бы нам не послать на этот раз на него своего делегата? Это могло бы иметь большой эффект и большое значение ввиду все крепнувшей франко-русской политической дружбы. Почему бы русскому студенту не быть одним из пионеров такого сближения двух государств?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.